

Сергей Максимов

БУНТ

ДЕНИСА

БУШУЕВА



Сергей Максимов
Бунт Дениса Бушуева

Издательство «РИМИС»

1956

УДК 82-311.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Максимов С. С.

Бунт Дениса Бушуева / С. С. Максимов — Издательство
«РИМИС», 1956

ISBN 978-5-906122-39-1

<p id="_GoBack">«Бунт Дениса Бушуева» не только поучительная книга, но и интересная с обыкновенной читательской точки зрения. Автор отличается главным, что требуется от писателя: способностью овладеть вниманием читателя и с начала до конца держать его в напряженном любопытстве. Романические узлы завязываются и расплетаются в книге мастерски и с достаточным литературным тактом. Приключенческий элемент, богато насыщающий книгу, лишен предвзятости или натяжки. Это одна из тех книг, читая которую, редкий читатель удержится от «подглядывания вперед». Денис Бушуев – не литературная фантазия; он всегда существовал и никогда не переведется в нашей стране; мы легко узнаем его среди множества своих знакомых, живших в СССР. И бунт его не выдуман Сергеем Максимовым, а только предвосхищен.

УДК 82-311.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906122-39-1

© Максимов С. С., 1956

© Издательство «РИМИС», 1956

Содержание

Предисловие	6
Часть I	10
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Сергей Максимов

Бунт Дениса Бушуева

© ООО «Лекстор», 2017

© Любимов А., послесловие, 2017

* * *

Предисловие

Сергей Сергеевич Максимов родился в 1917 г. на Волге. Его отец был сельским учителем. В 1920 году семья переехала в Москву, где С. С. после окончания средней школы поступил в Литературный институт. Окончить его ему не удалось, так как через два года после поступления он был арестован и приговорен к пяти годам заключения, которые отбывал в концентрационном лагере на Печоре. После окончания срока заключения Максимов поселился в маленьком городе в центральной части Советского Союза, который во время войны в 1941 г. был занят немцами. В следующем году он был арестован немцами и отправлен на работы в Германию.

Писать Максимов начал очень рано. Он сотрудничал в детском журнале «Мурзилка» и в юношеском журнале «Смена». После войны, сидя в лагере для перемещенных лиц, Максимов написал свой первый роман «Денис Бушуев», опубликованный в 1948 году в журнале «Грани». В 1949 году этот роман вышел отдельным изданием, и в 1950 году был издан по-немецки и по-английски. «Денис Бушуев» был тепло встречен как русской эмигрантской, так и иностранной критикой.

«Бунт Дениса Бушуева» – второй том этого романа. Первый том посвящен в основном повести о юности будущего писателя Дениса Бушуева. Денис родился в селе Отважном в семье волжского бакенщика Анания Северьяновича; но признанным главой семьи был не отец Дениса, а его дед Северьян Михайлович, властный и умный старик, живший поблизости от дома своего сына.

Первый том романа разворачивается в Татарской слободе и в смежном с нею селе Отважном. Дыхание Волги часто доносится со страниц романа. Мустафа Ахтыров, служащий кооператива в Татарской слободе, стоя на пристани и наблюдая за погрузкой, все не может отделаться от какого-то смутного чувства, навеянного разговором с Манефой, женой его брата, председателя колхоза Алима. Женился Алим на этой красивой молодой девушке из старообрядческой семьи два года тому назад. Из вчерашнего разговора с Манефой, в которую тайно влюблен и сам Мустафа, он вынес впечатление, что Манефа Алима не любит и никогда не полюбит. И невольно вспомнил Мустафа наставление покойной матери: не должен татарин жениться на русской, разве нет красивых девушек-татарок?

События, разыгравшиеся в последующие дни в семье Алима, подтвердили смутные предчувствия Мустафы. Когда он назавтра зашел к брату, он застал дикую сцену: Алим как раз замахнулся на Манефу косарём. Мустафа едва успел отвести его руку. Рассвирепевший Алим набросился на Мустафу. Когда братья пришли немного в себя, Манефа, наблюдавшая всю эту сцену, тихо спросила Мустафу: «Что же вы не добились друг друга?»

Никто не неволил Манефу выходить замуж за Алима. Пошла она за него «назло», из чувства оскорбленной гордости: Манефа любила Сенечку, сына капитана волжского парохода, и он любил ее, но браку воспротивился его отец и робкий Сенечка не посмел перечить отцовской воле. Расплата за взбалмошное решение Манефы пришла очень скоро: жизнь с нелюбимым мужем превратилась в муку. Не меньше страдал и Алим, страстно любивший Манефу. Узел с каждым днем затягивался все туже. Дня через два после тяжелой сцены в доме Алима, Мустафа вновь пришел к нему, но, видя, что тот все еще дует, ушел спать в малинник в саду Алима. Последний, видевший Мустафу в малиннике, был дед Северьян, привезший дрова Алиму. Укрывшись с головой одеялом от мух, Мустафа пытался заснуть, и вдруг где-то вблизи слышал чьи-то осторожные, но твердые шаги. Каким-то шестым чувством он понял, что он должен прежде всего скинуть одеяло с головы, но он как-то внезапно обмяк, и вдруг страшный удар обрушился на него и смял сознание. К вечеру Мустафу нашли в малиннике с проломанным черепом. Началось следствие. Так как последним человеком, видевшим Мустафу в малиннике, был старик Северьян, следователь вызвал его на допрос. Ничего не подозревав-

ший старик засвидетельствовал, что он с Мустафой хотя и не был в дружбе, но никаких враждебных чувств к нему не питал. Самое тщательное следствие никаких результатов не дает, но постепенно вырастают подозрения, что Мустафу все же убил старик Бушуев.

Отличие от тщедушного, маленького Анания, старик Северьян – фигура эпическая: крупного роста, широкоплечий. Он, несмотря на свои 80 лет, все еще крепкий человек. Кто он и откуда, никто толком не знал. Рассказывали, что еще совсем молодым он бурлачил на Волге. В село он заявился с капиталом, здесь женился и открыл трактир, купил пароход и построил дом. А потом запил. Однажды Северьяна чуть не забили в драке до смерти. Он запил еще сильнее и пропил все до нитки. Пить он в конце концов бросил и после смерти жены поселился в маленьком домишке на самом берегу Волги. Из двух сыновей выжил только Ананий. Старик перебивался случайными заработками: нелегальной ловлей рыбы, кражей казенных бревен на Волге, сушил их и продавал на дрова. На упреки Анания отвечал, что крадет он не его бревна, а казенные.

Хотя Ананий, говоря его словами, «с конца на конец» вздорный мужичонка, стяжатель и пьянчужка, как литературный портрет – это творческая удача Максимова. У Анания и его кроткой жены Ульяновны двое сыновей – старший Кирилл работает матросом в Астрахани, и младший Денис – будущий писатель – еще подросток, все еще не решивший, чем ему быть: тянет его поступить в техникум и выучиться на лоцмана, но тянет и к книжкам. В отличие от Анания, Денис и ростом и характером пошел в деда Северьяна, да и он его любимец: «видел старик в Денисе себя, второго себя».

Из действующих лиц первого тома романа, встречающихся и во втором, необходимо остановиться еще на Грише Банном, прозванном так потому, что его хибарка была рядом с сельской баней, и на семье московского архитектора Белецкого, имеющего в Отважном свою дачу.

Неясно прошлое сверстника Алима – Гриши. Судя по языку, человек он не деревенский и сам говорит, что в молодости обучался даже «физике»; любит поражать односельчан мудреными словами, вроде «оптический обман». На селе ходят слухи, что Гриша – незаконный сын князя Сумарокова, бывшего владельца имения около Костромы. Однако Гриша отрицает правдивость этих слухов, уверяя, что это навет людей, стремящихся повредить ему. Вернее всего, Гриша юродивый, слабоумный. Но при слабом уме он награжден судьбой отзывчивым и умным сердцем.

Архитектор Белецкий с семьей приезжает в Отважное каждое лето. У Белецкого две дочери, – старшая Женья и младшая Варя, тайно уже любящая Дениса. С ними обеими с детства дружен Денис. Архитектор Белецкий с симпатией относится к Денису и, зная его пристрастие к чтению, снабжает его книжками. Денис прочел уже немало: романы Майн Рида, Гюго, кое-что из Диккенса; из русских авторов читал Шолохова, Бунина, Катаева, стихи Маяковского и Есенина. Есенин Денису ближе Маяковского. В этом его поддерживает и жена Белецкого, хотя ее сдержанность к Маяковскому продиктована иными мотивами: как-то процитировав строчку из Маяковского «Делайте жизнь с Феликса Дзержинского», она заметила: «Нашел тоже пример с кого жизнь делать. Назвал бы, скажем, Ломоносова, Менделеева, Эдисона, Пржевальского, а то... заплеченного мастера». Эта реплика жены дает повод Белецкому развить свои взгляды на причины самоубийства Маяковского и на творчество в советских условиях. Белецкий считает, что условия творчества всегда были трудны для русских писателей, но они не сдавались. Не должны они сдаваться и теперь. Денис жадно прислушивается к этим литературным спорам у Белецких.

Следствие по делу об убийстве Мустафы продолжается. Кроме деда Северьяна, подозрение следователю внушает и Гриша Банный. Из показаний других свидетелей выяснилось, что Гриша, бывший в день убийства сначала у Алима, а потом в трактире, ушел оттуда как раз в часы, когда совершено было убийство. На первом допросе Гриша это скрыл, но на втором

допросе он смущенно признался в том, что действительно ушел из трактира, отправившись к Акюше-дурочке «по интимным делам». Безнадежно махнув рукой, следователь отказался от дальнейшего допроса Гриши.

Казалось, смерть Мустафы должна была хоть на время сблизить Алима с Манефой. В действительности вышло наоборот: Манефа еще больше возненавидела Алима. Инстинктивно Алим чувствовал, что эта каторга закончится тем, что Манефа изменит ему. Но, ненавидя и презирая Алима, Манефа не изменяет мужу, так как мать-староверка с детства внушила ей, что измена мужу «непростительна и страшна».

Денис тем временем из подростка незаметно превращается в юношу. Его первым, еще полудетским увлечением стала Финочка, младшая сестра Манефы. Но как-то на покосе Манефа поранила себе ногу косой, и случившийся рядом с ней Денис помог ей перевязать рану. Вид обнаженной ноги Манефы разбудил еще дремавшую чувственность в Денисе. Вскоре это новое чувство опять прорвалось, когда Денис принес в баню воду вместо занемогшего внешне Гриши Банного. Денис застал там раздевавшуюся Манефу, рванулся к ней и поцеловал ее. Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, если бы в это время не раздалась чьи-то шаги. Вскоре после этого Денис уезжает на заработки, а потом поступает в техникум. Лишь много позже судьба свела Дениса и Манефу. В то время Денис уже работал лоцманом на пароходе и, чтобы быть чаще в Отважном, сменил место лоцмана на большом пароходе на работу на маленьком местном пароходе. Вскоре о связи Дениса и Манефы поползли слухи по селу. Роман Манефы и Дениса со всеми его роковыми последствиями разворачивается почти одновременно с другим событием, косвенно ускорившим его трагическую развязку. Один из гостей Белецких, московский поэт Густомесов, скуки ради стал ухаживать за Финочкой, сестрой Манефы, и, в конце концов, ему удалось соблазнить девушку. А за Финочкой давно уже ухаживал матрос Вася Годун. Узнав о том, что произошло, он хотел было порвать с Финочкой, но затем простил ее, и вскоре они поженились. Особенно возмутил поступок Густомесова Дениса. И вместе с тем вся эта история как-то заставила его задуматься и взглянуть как бы со стороны на свои собственные отношения с Манефой. Денис пришел к заключению, что как ни тяжело будет и Манефе и ему – есть только один выход из создавшегося тупика: уехать ему подальше из Отважного. Придя к этому заключению, он написал Манефе записку, которую и просил Гришу передать после своего отъезда.

О связи Манефы с Денисом знали многие, догадывался о ней и Алим. Когда догадка превратилась в уверенность, Алим решил покончить с собой. Последним, видевшим его перед самоубийством (Алим бросился в Волгу) – был Гриша Банный. Ему Алим и передал записку для Манефы. Но в этой записке Алим не прощался с ней, он просил только никого не винить в своей смерти и еще просил прощения у народа «за все обиды», заверяя людей, что сам он «казенной копейки никогда не брал».

Вскоре после отъезда Дениса из Отважного, из редакции журнала «Революция» пришел на его имя перевод в тысячу рублей за поэму «Матрос Хомяков», которую Денис послал в этот журнал.

Два удара, почти одновременно обрушившиеся на Манефу – внезапный отъезд Дениса и самоубийство Алима – сломили молодую женщину. В тяжелом состоянии ее отвезли в больницу. Созванный консилиум врачей констатировал сильное нервное потрясение. Позднее выяснилось и еще одно обстоятельство: Манефа была беременна. Долго пробыла Манефа в больнице, а когда вышла из нее – мало что осталось в ней от прежней страстной и своенравной женщины. Стала тихой, вся как-то углубилась в себя. Часто разговаривала только с Гришей Банным, пытаясь узнать как можно больше подробностей о последнем разговоре Гриши с Алимом. После долгой внутренней борьбы Манефа на что-то решилась. Перед тем, как привести в исполнение задуманное, она пришла к деду Северьяну и рассказала ему то, что тяжким камнем лежало у нее на сердце: Мустафу убила она. Пораженный Северьян посоветовал ей

пойти в город и принести повинную, так как грех ее велик и никому не дано право убивать человека. Из долгой беседы с Северьяном выясняется, что Мустафу Манефа убила нечаянно: она хотела убить Алима, который накануне замахнулся на нее косарём. Мустафа лежал, укрывшись с головой одеялом, и она не могла разглядеть его. Совет Северьяна покаяться Манефе не очень по душе: в Бога она не верит, не верит она поэтому и в то, что это покаяние принесет ей облегчение. Под конец этого разговора Манефа рассказывает, что, собственно говоря, не имеет она права распоряжаться собственной жизнью потому, что она беременна от Дениса. Эта новость потрясает Северьяна. После некоторого глубокого раздумья лицо Северьяна вдруг просветлело, «точно светом, идущим изнутри его». «Так светлеет на рассвете в комнате, когда еще не видно солнца, когда трудно понять, откуда идет свет, но свет этот уже ощутим...» Старик вдруг подошел к старинной иконе, оправил фитилек в лампаде, снял ее и заставил Манефу повторять за собой слова молитвы. Старик решил взять вину за убийство Мустафы на себя... Никому, даже позднее любимому внуку, не выдал Северьян тайны Манефы. А на следующее утро сам отправился в сельсовет; туда как раз в это время приехал следователь, много раз допрашивавший Северьяна. На этот раз Северьян принес повинную. Следователю нетрудно было на основе этого признания состряпать громкое дело «с политической подоплекой», обрисовать Северьяна «идейным и непримиримым врагом советской власти, совершившим террористический акт над коммунистом Мустафой Ахтыровым». Северьян приговорен к 10 годам лишения свободы, с отбыванием срока наказания в отдаленном трудовом лагере...

В Издательстве имени Чехова были опубликованы два сборника Максимова: «Тайга»¹ (1952 г.) и «Голубое молчание» (1953 г.).

Издательство имени Чехова

*Друзьям: Роберту Фомичу Слоссеру, Петру Афанасьевичу
Пирогову, Петру Эрнестовичу Вегеру и брату Николаю – посвящаю*

¹ Максимов С. Тайга: Сборник рассказов / Сергей Максимов. – М.: РИМИС, 2016. – 208 с.

Часть I



I

Третий день подряд крутила метель. По тайге буйно гулял ветер, шумно раскачивал столетние лиственницы и ели, сыпал сухим, колючим снегом. Днем над вьюжной пустыней низко нависало свинцово-серое небо, еще ниже – быстро и беспорядочно неслись клочья бурых туч, цепляясь за деревья и оставляя на ветвях безобразные дымные хлопья. Ночью – и небо, и земля – свивались во что-то бесформенное, беспокойное, смолисто-черное. И смолисто-черным казался снег. К полудню третьего дня метель слегка стихла, но к ночи снова замела, снова бешеным зверем заметалась по тайге, роняя наземь черную пену-снег. Изредка, словно маяк в бурную ночь, вдруг вспыхивал странно-блестящий диск луны, заливал на мгновение тайгу

призрачным зеленым светом и так же вдруг исчезал, как и появлялся. Нет хуже погоды для путника, и нет лучше – для беглеца.

Дмитрий Воейков откинул смерзшийся хрустящий полог палатки и, согнувшись, шагнул в смрадный полумрак. На двойных нарах, наспех сколоченных из сосновых жердей, лежали заключенные, прикрытые бушлатами и старенькими байковыми одеялами. Кто – спал, кто – думал, кто – прислушивался к метели и к песне, доносившейся из женского барака. Дмитрий прошел в самый дальний угол, где на врытом в землю самодельном столике мерцала коптилка. Неторопливо сбил снег с бушлата, снял его, бросил на нары и тяжело сел в ногах у лежавшего приятеля – Матвея Ставровского. Ставровский приподнял косматую голову и негромко спросил:

- Метет?
- Метет.
- Часовых видно?
- Нет. Снег – как стена.

Тусклый, желтый свет коптилки клал глубокие тени на худое, красивое лицо Ставровского. Выпуклые, даже как-то чересчур выпуклые черные глаза его в упор смотрели на Дмитрия, смотрели как-то странно, немигающе и чуть удивленно.

- Ты – что? – тихо спросил Дмитрий.
- Видел...
- Что?

– Видел во сне, как меня убили. Бегу, понимаешь, вдоль забора, а по мне из пулемета жарят. И ты рядом бежишь... В голову, понимаешь... Так и ткнулся в снег.

Дмитрию было неприятно слышать то, о чем говорил Ставровский, и он резко сказал, перебивая его:

- Дай закурить.

Ставровский молча протянул ему кисет с махоркой. Оторвав кусочек газеты, Дмитрий стал скручивать сигарку. Пальцы его слегка вздрагивали. Над палаткой шумела метель. И в этом месиве из снега, мрака и волчьей тоски, перекрывая шум метели, звенел, то взвиваясь, то затихая, беспредельно грустный женский голос.

- Ты адрес сестры моей запомнил? – вдруг спросил Дмитрий.

Ставровский, спрятавший было голову под одеяло, снова откинул его, сел на нарах и рассмеялся. Рассмеялся откровенно, но как-то неестественно.

- А ведь ты тоже о смерти сейчас думаешь...

– Что ж смерть? – вздохнул Дмитрий. – Смерть все-таки лучше, чем двадцать пять лет каторги... Да и не в этом дело!.. И иди ты, вообще говоря, к чёрту!

И он отвернулся.

Женщина пела. Женщина пела о том, что по всей русской земле, где – снежной, где – опаленной солнцем, раскиданы странные дома с железными решетками и целые поселения, обнесенные колючей проволокой, где живут безликие серые тени, растоптанные горем, отчаянием и безысходностью. Женщина пела о том, что лишь под тяжелыми сугробами снега и комьями мерзлой земли, куда не доносятся ни людские стоны, ни вой метели, ни окрики часовых, – только там человек обретает желанный покой и вечную тишину.

Я не верю ни Богу, ни людям.
Знать написано так на роду:
Возвратите мне только свободу,
А до рая сама я дойду... –

рыдала женщина, и этот припев подхватывали десятки других женских голосов, высоких и низких, звонких и хриплых, подхватывали дружно, стройно, с неподдельным чувством, отчего песня звучала необыкновенно красиво, и не верилось, что это поют убийцы, воровки и проститутки.

А метель крутила, сыпала снегом, наметала сугробы возле брезентовых палаток концлагеря и монотонно, как плакальщица, подпевала женщинам.

Возвратите мне только свободу,
А до рая сама я дойду...

– Хорошо поют... – задумчиво заметил Дмитрий.

– Поют, черти! – вздохнул Ставровский и вдруг вспомнил: – Да, забыл передать: Васька-Баламут финку тебе принес.

– Где?

– У тебя под подушкой.

Дмитрий животом повалился на нары и, нащупав под сенной подушкой финский нож, сунул его в карман.

– А где бусоль? – спросил он, вспомнив о компасе.

– Уже на сто первом пикете. Баламут в свой мешок положил.

Дмитрий перевернулся на спину и закинул руки за голову. Колеблющееся пламя копилки бросало желтые, тусклые блики на его широкое, гладко выбритое лицо. Два года он носил в лагере бороду, а теперь сбрил, и Ставровский все еще никак не мог свыкнуться с тем новым, что открылось ему в лице Дмитрия. Раньше ему казалось, что в лице и в светло-голубых глазах Дмитрия много добродушия и теплоты. Теперь он видел выражение холодной сосредоточенности и силы. Эта внутренняя сила проскальзывала во всем: и в крутом, слегка раздвоенном подбородке, и в игре мускулов подвижного лица, и – особенно – в скупых на движения, почти всегда сжатых тугих губах, по-мужски красивых и четко вырезанных, с еле заметными мягкими ямочками в углах. И это выражение мужественности как-то не вязалось с колечками непокорных белокурых волос, по-детски падавших на высокий и крепкий лоб. Был он невысок, ладно скроен и обладал редкой физической силой, которую не отняла у него даже долгая полуголодная жизнь в тюрьмах и лагерях.

До полуночи, до того часа, когда Дмитрий Воейков, Ставровский и вор Баламут поставят на плохую, почти безнадежную карту свои жизни, оставалось еще несколько часов. Время тянулось мучительно медленно. Песня женщин умерла, кое-кто из арестантов уснул, и еще громче стала слышна метель.

– Слушай, – лениво сказал Ставровский, – я сегодня долго говорил с этим стариком, что за убийство сидит, как его?..

– Бушуев?

– Да. Интересный старик, я тебе скажу. Больно уж для него все ясно и просто. Философ.

– И заметь: он ведь совершенно неграмотный, – вставил Дмитрий. – Только вот что непонятно: он религиозный фанатик, это несомненно. Лет ему под девяносто, а то и больше. Стать в такие годы вдруг верующим человеком немислимо. Значит, он верующий давным-давно, быть может – с детства. А – убил. Зарубил человека топором. Тут какая-то мистерия, ей-богу!

– В том-то и дело! – живо подхватил Ставровский. – И не просто, не случайно убил, а видимо с совершенно определенной целью, в основе которой была идея. Он мне, знаешь, что сказал: я, говорит, знаю, за что сижу, и знаю, за что несу крест свой, а вот вы-то с Митрием – за что? Вопрос был, понимаешь, далеко не праздный. Он великолепно знает, что такое «политика», и знает, что большинство сидящих за «политику» далеки от нее. Это я из его слов сразу уловил. И вопросик его – за что мы с тобой сидим – был хитренький и имел совершенно опре-

деленный смысл: в нем звучала ирония, дескать, уж ежели сидеть по тюрьмам, то, по крайней мере, сидеть за дело...

– Ишь ты!.. – усмехнулся Дмитрий. – Ну, вот мы делом и займемся на свободе. Как это сейчас женщины пели? «Возвратите мне только свободу, а до рая сама я дойду...»

– В иной рай с арканом на шею приводят... – мрачно заметил Ставровский. – Ах, Дмитрий, вот и пожалеешь, что в Бога не веруешь, – умирать бы легче было.

– Какая разница, с Богом или без Бога умирать. – поморщился Дмитрий. – Жить надо!.. Кстати, ты знаешь, что писатель Денис Бушуев внук этого старика?

– Знать-то знаю, но удивляюсь тому, что прославленный сталинский борзописец до сих пор не может старика из лагеря вытянуть.

– С луны упал! – захохотал Дмитрий.

– Кто?

– Да ты, кому же еще! Как будто вытащить человека из лагеря так же легко, как ерша из реки!

– Да ведь у Бушуева-то младшего связи, наверно, в Кремле-то!

– Ну и что?

– Ничего... Да ну тебя! – рассердился Ставровский и замолчал. Дмитрий видел, что Ставровский нервничает и нарочно заводит посторонние разговоры, чтобы не думать о главном, о неизбежном, страшном.

В палатку вошел Васька-Баламут, длинный, сутулый парень, одетый в новенький бушлат и в новехонькие серые валенки. Метель швырнула вслед ему охапку снега. Подойдя к Ставровскому и Воейкову, он подул на зазябшие красные руки, сверкнув стальным кольцом на мизинце левой руки, и, щуря лихие, бандитские глаза свои, кратко доложил:

– Метель, братва...

От него несло дешевым одеколоном.

– Ты где был? – недовольно спросил Дмитрий. – Пил?

– С Катюхой моей прощался. Вот одеколونчика тройного мне поднесла, выпил за ее здоровье.

– Ты не нарежься к ночи-то... – предупредил Ставровский.

– Да я что – дурак? – возмутился Баламут, широко улыбаясь и показывая красивые белые зубы.

– Похоже... – буркнул Ставровский.

Баламут весело рассмеялся и потер ладонью кирпичную лоснящуюся физиономию.

– А промежду прочим, с Катюхой мы прощались за пятым бараком, прямо на снегу... – сообщил он. – Ну и натерпелся же я горяшка! А Катька спиной к железной арматуре примерзла. Так опосля-то сначала сама из бушлата вылезла, а потом мы вдвоем буш лат отодрали от проклятой арматуры. Не иначе как, так сказать, перед началом концерта, кто-то помои на железо плеснул. Па-атеха!

«Да что он в самом деле – на прогулку собирается, что ли! Шутит, смеется, вот отчаянная голова! – с восхищением подумал Дмитрий. – Эх, кабы нам с Матвеем смелости у него подзанять...»

Баламут, в самом деле, был отчаянным человеком, и за ним уже числился не один побег из тюрем и лагерей.

Время от времени заключенные лениво поднимались с нар, подходили к раскаленной печке – железной бочке из-под керосина, – перевертывали сушившиеся портянки, черпали из ведра кипятков консервными банками, негромко переговаривались.

Дед Северьян, примостившись на кряже возле печки, скоблил осколком стекла самодельную деревянную ложку. На длинной белой бороде его жарко горели отблески пламени. Баламут присел на корточки, любопытно взглянул на работу старика.

– Чегой-то? Ложка будет?

– Нет, топор... – недовольно ответил старик.

Баламут дурашливо захохотал.

– Понятно. Топором ты, папаша, работаешь без промаху. Это известно! – заметил он, хитро подмигивая стоявшим у печки заключенным. Кое-кто хихикнул.

– Иди-ка ты, брат, восвояси, – посоветовал, слегка нахмурившись, дед Северьян и дернул изуродованной губой.

– Слушай, папаша, я вот к тебе с каким делом, – не унимался Баламут. – Да ты слушай! Я вот скоро в побег пойду, хочу «зеленому прокурору» жаловаться... Надоел мне лагерь. Я еще ни в одном лагере, ни в одной тюрьме больше года не сидел...

– Да тебя и вовсе выпускать не надо. Когда в побег-то собираешься?

– Ну, может, месяца через два, а может, и через три – вот как потеплеет. Так вот какое дело: у тебя, папаша, говорят, внук в Москве богатый живет, сочинитель. Нельзя ли его немножко пощупать? Ты бы дал мне его адресочек на всякий случай...

– Он, брат Васька, так тебя пощупает – ног не унесешь, – улыбнулся дед Северьян. – Мы, волгари, народ сурьезный. Учти это.

– Учту. А он что, вроде тебя – такой же дылда?

– Да пожалуй что и поболее будет.

– Ну, коли уж очень за мошну держаться будет, я ему решку наведу... – пообещал Баламут.

Он выпрямился, сверкнул стальным кольцом на руке и, приплясывая и притоптывая, запел:

Ночь наста-а-ала, хозяин заснул,
Я его по горлу «пером» полоснул...

– Поверка! – закричал дневальный.

В палатку вошли коменданты. Началась вечерняя поверка.

II

К полуночи метель разбушевалась еще сильнее, но потеплело, и снег – из сухого и мелкого – повалил тяжелыми хлопьями. В палатке было темно и холодно – печка прогорала. Сквозь открытую дверцу видны были красные угли. Дмитрий Воейков чуть вздрогнувшей рукой осторожно толкнул Ставровского.

– Пора.

Было темно. Еще час назад, не вылезая из-под одеял, беглецы натянули поверх бушлатов и ватных штанов белые рубахи и подштанники – все-таки меньше вероятности, что заметят. Один за другим свалились под нары, легли наземь, прислушались. Дмитрий коротким и сильным ударом финского ножа располосовал брезент, кошкой выполз на снег. За ним – Баламут и Ставровский.

Бешено крутила метель. Смутно чернели в белом месиве лагерные палатки. Прямо перед беглецами вздымался высокий дощатый забор, с колючей проволокой поверху, справа и слева по углам забора еле заметны были вышки с часовыми. С вышек лился мутный, желтый свет прожекторов, с трудом пробиваясь сквозь пелену мятущегося снега. За забором грозно шумела черная стена тайги.

Возле толстого столба забора, еще за несколько дней до побега, Дмитрием были наспех, ночью, подпилены две доски и замаскированы сугробом. К этому столбу предстояло подползти. Пробежав, согнувшись, короткое пространство от палатки до забора, довольно ярко освещен-

ное фонарем, что висел возле барака, Дмитрий первый бросился в свеженасыпанные сугробы и на локтях, утопая, как в пене, зарываясь лицом в снег, жгучий, как огонь, пополз к забору. Обернувшись на секунду, он увидел, что вслед за ним, то приседая на четвереньки, то вскакивая, стремительно бегут Ставровский с Васькой.

И тогда хлопнул выстрел с левой вышки, одиноко и гулко раскатившись по тайге. И – второй, и – третий...

Дмитрий двумя взмахами судорожно сцепленных рук отбросил от подножья столба снег, бросился на спину и, подняв ноги, бешено ударил подпиленные доски. Хрустнув, доски вылетели и пропали по ту сторону забора. Встав на колени, он почувствовал чье-то прерывистое дыхание возле себя: это были Ставровский и Васька. По лицу Ставровского, с вытаращенными, обезумевшими глазами, наискось, через лоб и по щеке цевкой бежала темная струйка из-под шапки-ушанки.

– Ле-ежь! – дико крикнул Дмитрий, подталкивая Ставровского к пролomu. – Лезь, мать твою...

И грубое слово слетело с его языка. Этим криком он хотел подбодрить раненого товарища. Ставровский, плохо соображая, что делает, сунулся в пролом, но застрял и застонал, скрипнув зубами. Ударом ноги Васька вытолкнул его наружу. А выстрелы все хлопали и хлопали, пули звонко щелкали по забору и неприметно, чуть взвизгивая, зарывались в снег возле беглецов. От комендантского барака бежали двое вохровцев, один на ходу рвал из кобуры наган. Было непонятно – почему молчала правая вышка, которой больше всего боялись беглецы, потому что там стоял ручной пулемет. «Неужели не видят?» – подумал Дмитрий.

Он очутился на свободе последним. Прямо от забора начинался крутой скат в овраг, где шагах в пятидесяти шумела тайга. Рукавицей Дмитрий сбил набившийся в глазницы снег и увидел прямо перед собой нелепо ковыляющего Ставровского. Он метнулся и подхватил спотыкающегося товарища. В эту минуту ударил с правой вышки пулемет, а луч прожектора левой вышки желтым мутным пятном накрыл Ставровского с Дмитрием. Ставровский вдруг мотнул головой и тяжело, как срезанный, повалился наземь, увлекая за собой Дмитрия. «Готов», – мелькнуло у Дмитрия, увидевшего на мгновение перекошенное лицо товарища, с выкатившимися и застывшими, как стекло, глазами. Он вскочил и большими прыжками бросился к лесу. Пули, взвизгивая, зарывались где-то у самых его ног. Как из-под земли, вырос рядом с ним Васька-Баламут и, обгоняя Дмитрия, первым подбежал к кустам дикой смородины и можжевельника, за которыми начиналась тайга.

– Ушли, Дмитрий! – радостно крикнул он, на секунду обернувшись к Воейкову. – Наддай, товарищ!..

Но вот он споткнулся, упал, снова вскочил на ноги и снова упал, упал на этот раз на колени и размашисто, крест-накрест, охватил руками живот.

– Ножом... добей ножом, Дмитрий... – хрипел Васька. – В живот... гады!..

И вдруг, далеко закинув голову, как раненый волк, взвыл страшным, нечеловеческим голосом:

– А-а-а... а-ва-ааа...

Вторая пуля вошла ему в глаз, и он, разом оборвав крик, мгновенно опрокинулся на спину, уродливо согнув ноги. Дмитрий, не замедляя бегу, на какую-то долю секунды взглянул на него: «Убили. И этого убили!» – и врезался грудью в запорошенные снегом кусты можжевельника. Пробив их толщу, кубарем покатился в овраг.

И разом все стихло. Лишь ветер шумел по тайге, да гудел чугунный буфер на лагпункте – набат. Били по нему часто и мелко.

Отбежав метров триста-четырееста, Дмитрий отыскал телефонный провод временной линии; подпрыгнув, легко достал его и, вытащив из кармана плоскогубцы, – перекусил провод.

Потом вышел на небольшую полянку, где бешено крутила метель, и скрылся в белом кружеве снега.

Вьюга мгновенно замела его следы.

III

Трупы Ставровского и Васьки-Баламута охрана бросила возле вахты на снег – в назидание заключенным.

Снаряженная было в погоню за Воейковым группа вохровцев скоро вернулась ни с чем: немецкие овчарки не могли найти следов – все было занесено мгновенно. А те следы, что еще видны были за «зоной», пахли керосином, и собаки, фыркая, уходили от них – беглецы заблаговременно смазали валенки керосином. Соединив оборванный Дмитрием провод, охрана по телефону сообщила о побеге на все таежные заставы.

Взволнованные побегом, заключенные не спали. Никто, ни один. То и дело в барак, из которого бежал Дмитрий, приходили разведчики с новостями. Весть о том, что Ставровский и Баламут застрелены, разнеслась мгновенно, и все единодушно желали успеха Воейкову.

И когда, наконец, в барак вбежал дежуривший на воле семнадцатилетний заключенный Глеб Шмидт с радостным криком: «Вернулись!.. Пустые...» – все облегченно вздохнули.

– Па-адался Воейков до «зеленого прокурора»! – весело махнул рукой бандит Гришка.

– И черти-политики отчаянные бывают, – заметил кто-то. – Вот это рванул: прямо из-под пулемета винта нарезал!

В бараке было большинство политических заключенных. Они тоже обменивались впечатлениями, но сдержаннее, чем уголовники. Каждый в душе искренне радовался за Воейкова, хотя мало кто верил в благополучный исход побега – понимали и знали, как много препятствий еще стоит на пути беглеца: преодолеть тайгу, метели, зверя, заставы охраны, голод, раздобыть фальшивые документы...

Дед Северьян лежал с открытыми глазами на нарах и, чуть шевеля пепельными губами, тихо молился за Дмитрия Воейкова.

– Господи! – шептал он. – Помоги ему миновать лихого человека, дай ему, Господи, вздохнуть вольным воздухом, дай ему родных повидать... Помоги ему, Господи, на скорбном пути его...

Потом, как всегда перед сном, стал молиться за всех родных и близких. И первой молитвой была молитва за Манефу: «Помяни, Господи, душу рабы Твоя Манефы и прости все прегрешения ее, вольные и невольные... И сотвори ей вечную память...» Потом – за внука своего любимого, за Дениса, и за всех других.

Кончив молиться, старик потушил огарок свечи и, прислушиваясь к шуму метели, долго еще раздумывал над странной судьбой Дениса и вспоминал его то малюткой, то отроком, то взрослым.

Все казалось бесконечно далеким...

IV

В полуверсте от сто первого пикета, небольшого затесанного колышка – пунктира будущей железнодорожной линии, в восьми километрах от лагеря, находилась небольшая землянка, вырытая зырянами-охотниками. В эту землянку, за два дня до побега Ставровского, Дмитрия и Баламута, возчик Никита, пользовавшийся правом бесконвойного хождения, отвез рюкзаки и лыжи беглецов. За это он получил от беглецов сто рублей и два литра спирта.

В эту землянку к утру пробрался Дмитрий, после долгого блуждания по тайге. Землянка была так завалена снегом, что Дмитрий едва нашел ее и едва открыл дверь. Здесь было тепло –

так, по крайней мере, показалось сгоряча Дмитрию. Войдя внутрь, он прежде всего достал свечу, зажег ее и выпил полстакана спирта. Все тело ломало от усталости, тянуло ко сну, болело оцарапанное пулей левое плечо. Спекшаяся кровь прилепила исподнюю рубашку к ране. При каждом резком движении Дмитрий чувствовал невыносимую боль. Он разделся до пояса, тщательно промыл рану и перевязал плечо – бинт оказался в рюкзаке Баламута. Дмитрий вспомнил, как накануне Баламут хвастался, что украл у лекпома бинт и эфир. «А зачем ему эфир понадобился?» – лениво подумал Дмитрий. Мысли его как-то глупо перебежали от одного к другому.

Не разводя огня, он повалился на сухой, пахучий еловый лапник, горой наваленный в углу землянки, и мгновенно уснул. Уснул со смутной, бессмысленной надеждой, что кто-нибудь из товарищей по побегу появится в землянке.

Но никто не пришел. Мертвые не воскресают.

Во сне он видел тихую снежную лунную ночь, костер посреди леса, а возле костра – толпу сгрудившихся женщин-заключенных, закутанных в рваные бушлаты. Женщины тянули сухие, желтые руки к огню и пели печальную песню. Потом видел свой дом на Арбате, в Москве. В парадном стояла сестра Ольга. Перед домом тоже горел костер и те же женщины пели печальную песню, а прохожие не обращали на них никакого внимания, только как будто бы одна Ольга их слушала, улыбаясь тихой и грустной улыбкой.

Она была необыкновенно красива, такой красивой он ее никогда раньше не видел. У ног ее, прямо на тротуаре, сидел дед Северьян и скоблил осколком стекла деревянную ложку. Он часто взглядывал на Ольгу и негромко говорил: «Не трожь, не трожь ты его. У него своя жись. Он и так сбился с тропы. А за брата – молись. Молись, как умеешь». Дмитрий подошел ближе и опять услышал: «Не трожь его...» «Да про кого это он говорит?» – мучительно думал Дмитрий.

А женщины все пели печальную песню; вдруг поднявшаяся метель занесла снегом костер, потом – и женщин, и старика, и Ольгу, стало тихо, и осталось лишь ровное лунное снежное поле.

В полдень на другой день Дмитрий проснулся и не сразу сообразил, где он и что с ним. С трудом разлепил тяжелые веки. Было темно и холодно. И как-то сразу вспомнил все. И первое чувство было чувство бешеной радости.

– Свобода...

Сухие, потрескавшиеся губы едва двигались.

– Свобода...

Он вскочил, ощупью добрался до двери, попробовал было открыть ее, но дверь наглухо замело. Тогда он с силой, со всего плеча толкнул ее, забыв о ране. Боли, однако, он не почувствовал – он с жадностью глотнул холодного воздуха, ворвавшегося в широкую щель, и выглянул наружу. Кругом стояла молчаливая, словно застывшая тайга, засыпанная искрящимся, сверкающим на солнце снегом. На гладких, будто укатанных сугробах вокруг землянки не видно было и признака людских следов. Лишь тонкая цепочка ровных ямок пересекала наискось небольшую поляну перед дверью землянки – тут, видимо, совсем недавно прошел песец. На голубом небе ни облачка. Было удивительно тихо; и хорошо,пряно пахло свежим снегом и елью.

Дмитрий зажмурил глаза и ткнулся лицом в косяк. Плечи его вздрогнули, и он глухо, но сильно заплакал. И плакал долго. Только тот, кто долго смотрел на Божий свет сквозь железную решетку, кто вынес на своих плечах миллионы тонн горя, только тот знает по-настоящему цену свободы. И плакал Дмитрий, кажется, первый и последний раз в жизни.

Целых три дня прожил Дмитрий в землянке, выжидая новой пурги, чтобы идти дальше. Он знал, что только еще начинается скорбный путь беглеца, по следу которого всегда, всю жизнь, будут идти ищейки-люди, чтобы снова отнять у него его человеческое право на свободу.

За это время, пока он жил в землянке, Дмитрий из трех рюкзаков сделал один, переложив в него все самое важное. Шесть месяцев они готовились к побегу. Шесть месяцев правдой и неправдой собирали по крохам все необходимое для побега, и вот – все досталось ему одному. Остальных прибрала холодная зырянская земля.

На четвертый день Дмитрий встал на лыжи и двинулся дальше. Путь он держал на восток, к Уральским горам.

V

В Художественный театр Ольга Николаевна и Аркадий Иванович приехали рано, за двадцать минут до начала спектакля. Шли «Братья» Дениса Бушуева. В гардеробе, снимая с ног облепленные снегом ботинки – на улице шел густой мокрый снег, – Ольга шутя пожурив своего обожателя за то, что он плохо рассчитал время и что им придется долго ждать. Аркадий Иванович предложил пройти в буфет и согреться горячим чаем с лимоном и тут же, смеясь, рассказал Ольге анекдот об опыте Художественного театра с «Буфетом на честность», якобы произведенном несколько лет тому назад.

«Буфет на честность», по моим сведениям, просуществовал всего три дня. Идея была такова: утомленные пьесой какого-нибудь новейшего драматурга, зрители в антракте выходят в фойе и стремглав несутся к буфету. Буфет пуст, то есть пуст в том смысле, что нет в нем ни кассиров, ни официантов. Зритель сам берет с прилавка то, что ему нравится, съедает или выпивает, смотрит на прейскурант и кладет указанную сумму в большую стеклянную вазу. Если надо, сам, своей собственной рукой берет из кучи денег сдачу и удаляется. Ну-с, в первый день этого смелого эксперимента, после подсчета выручки, оказалось двести рублей лишних – стыдились, видимо, брать сдачу. На второй день – два рубля лишних, на третий – не хватило три тысячи, на четвертый – «Буфет на честность» снова превратился в «Буфет на наличные», с той только разницей, что цены в нем поднялись втридорога...

– Да вы, быть может, все это выдумали! – смеялась Ольга.

Когда вошли в зрительный зал и пошли по упругому ковру бокового прохода партера, Аркадий Иванович сразу же, не без тщеславия, отметил, что взгляды публики дружно, с любопытством и восхищением обратились на Ольгу, несмотря на то, что одновременно с ними из разных дверей входили другие зрители, и среди них было немало красивых женщин.

Ольга шла уверенной, твердой и в то же время необыкновенно легкой походкой, ничуть не смущаясь тем вниманием, которое она вызывала у публики. Стройная, с небольшой подвижной головкой, с которой свободно падали короткие пушистые русые волосы, обнажая по-детски тонкую шею, мягкая в движениях – вся она была проникнута той милой теплой женственностью, без которой не может быть красива женщина, как бы ни была ярка ее красота. Умные голубые глаза ее в темных ресницах смотрели вокруг приветливо, и так же приветливо улыбались яркие, словно вырезанные губы, показывая ямочки в уголках и обнажая блестящие полоски мелких чистых зубов. И в этом блеске женственности и доверчивой приветливости как бы тонули и в то же время становились ярче – и тоненькая ниточка жемчуга вокруг белой матовой шеи, и простое, темное, несколько короткое шерстяное платье – единственное ее приличное платье, в котором еще можно было куда-то показаться, – и скромные черные туфельки на стройных, упругих ногах.

Аркадий Иванович, сам молодой и красивый, с приличной скромностью шел сбоку и чуть позади Ольги, сознавая, однако, что он вполне пара Ольге и что, быть может, он даже как-то дополняет ее красоту.

Места были хорошие: шестой ряд партера у правого прохода. Опустившись на кожаное сиденье, Ольга прикрыла глаза рукой, ладошкой наружу, и тихо, счастливо рассмеялась.

– Вспомнила ваш «Буфет на честность»... – объяснила она.

Аркадий Иванович, довольный тем, что развеселил Ольгу Николаевну, скаламбурил еще какую-то чепуху и почувствовал себя счастливым. И подумал о том, как хорошо он сделал, что вытащил наконец Ольгу в театр. Последнее время она редко бывала в хорошем настроении и часто грустила в связи с тем, что от брата Дмитрия, осужденного на двадцатипятилетнее заключение и находившегося в концлагере, уже полтора месяца не было писем. Брата Ольга очень любила и мучилась неизвестностью. Два раза она ходила в Гулаг, чтобы навести справки, но толку не добилась.

– Ну так что же мы будем смотреть? – вдруг посерьезнев, спросила Ольга.

– «Братъев».

– Я знаю, что «Братъев». Но что это за чепуха?

Аркадий Иванович знал, что Ольга не любит советских писателей, не читает их и не ходит на их пьесы. Аркадий Иванович сам не очень долюбивал советских писателей, их массу, особенно тех, с кем ему приходилось встречаться на работе в киностудии, но многих он выделял, любил, считал талантливыми, читал их и радовался их успехам.

– «Братъа» – это пьеса, тема которой антисоветский мятеж в Тамбовщине... – начал было Аркадий Иванович, но в этот момент в одной из лож бенуара появился какой-то большеголовый человек в очках и с ним две женщины, и по зрительному залу пробежал восторженный шепот:

– Алексей Толстой...

Ольга внимательно, через плечо, посмотрела на знаменитость и, вдруг вздрогнув, слегка побледнела и отвернулась.

– Вы что? – тревожно спросил Аркадий Иванович.

– Так... ничего... – тихо ответила Ольга.

– Ну, а в самом деле?

Ольга искоса оглянулась по сторонам – народу было уже много, но вокруг них места еще были свободны, – нагнулась к Аркадию Ивановичу и зашептала:

– Аркадий, не поворачивайтесь... я уже второй раз его вижу... за мной следят... это несомненно... вот он остановился, смотрит на билет.

– Да кто? – нервно спросил Аркадий Иванович и хотел было повернуться, но Ольга умоляюще сказала:

– Не поворачивайтесь... ну, конечно, идет к нам.

Кто-то невысокий и плотный, в темно-буром костюме, протискивался по пятому ряду спиной к Ольге и Аркадию Ивановичу. Грузно сел прямо перед ними и уткнулся в программу. Ольга с ненавистью и злобой взглянула на тупой, коротко подстриженный затылок незнакомца и на его морщинистую красную шею. Особенно противна была перхоть, похожая на табачный пепел, густо обсыпавшая воротник пиджака и плечи незнакомца.

Она глазами показала Аркадию Ивановичу на дверь, – он легким отрицательным движением головы ответил, что уходить не надо, что надо остаться. И ровным спокойным голосом стал рассказывать содержание пьесы – он уже смотрел пьесу раньше. Ольга слушала и ничего не понимала: одна тревожная и страшная мысль лезла в голову – с братом что-то случилось.

Зал быстро наполнялся публикой, и через несколько минут все места были заняты, но свет еще не потушили. Чуть покачивался мягкий занавес с огромной бело-голубой чайкой на сером фоне. Но Ольга уже не замечала ничего кругом: ни блеска зала, ни публики, ни Аркадия Ивановича – она видела лишь тупой затылок и красную шею, и наглый вид их наполнял ее душу щемящей тоской. Перед самым поднятием занавеса кто-то вошел в правительственную ложу. Все встали. Аркадий Иванович тоже встал и за локоть приподнял Ольгу. Зал разразился дружными, оглушительными аплодисментами, сотрясая театр. Кто-то истерически крикнул:

– Да здравствует наш гениальный вождь и учитель товарищ Сталин!

И снова грохнули аплодисменты и, как показалось Ольге, не смолкали целую вечность. Но свет вдруг выключили, аплодисменты стихли, бесшумно пополз занавес. И тогда Ольга довольно громко сказала:

– Мне плохо. Выйдем.

Головы зрителей дружно повернулись в ее сторону. Но – странно – не повернулся лишь человек с тупым затылком. Кто-то недовольно шикнул. Аркадий Иванович вскочил и, поддерживая Ольгу за локоть, повел ее к выходу. По дороге она шепнула, что ей совсем не плохо, а просто она не может больше видеть этот противный затылок и мерзкую перхоть на пиджаке. У выхода в фойе Ольга на секунду оглянулась и – опять-таки только на миг какой-нибудь – замерла: до того хороша была декорация, изображающая деревенскую улицу в перспективе. Солнце только что село, над беспредельным морем спелой ржи полыхал закат, и его красноватые отблески играли на стеклах окон убогих деревенских изб. На переднем плане, на ступеньках подгнившего крыльца крайней избы сидел парень и тихо наигрывал что-то очень тоскливое на гармонике. «Остаться? – мелькнуло у Ольги. – Нет, нет, ни за что». И она вышла в фойе.

– Идет за нами? – спросила она.

– Нет, по-моему, остался, – тихо ответил Аркадий Иванович. – Но, Ольга, я думаю, что к вам он не имеет никакого отношения. В театре Сталин и, вероятно, каждый десятый зритель – агент.

Прошли в гардероб. Одеваясь, Ольга чуть повеселела: быть может, Аркадий Иванович и прав – театр набит агентами, потому что спектакль смотрит Сталин. Нет, этого человека она видела раньше. И Ольга решительно пошла к выходу своей уверенной и легкой походкой. Аркадий Иванович, на ходу надевая пальто, поспешил за нею. До слуха Ольги донесся разговор гардеробщиц.

– Автор тоже приехал.

– Бушуев?

– Ага...

На улице было сумеречно и снежно. Ольга с Аркадием Ивановичем торопливо направились к Театральной площади, чтобы там взять такси.

VI

...Над Можайским шоссе в безоблачно-синем небе курлыкали журавли. За заборами, в садах, еще лежал снег, пересеченный лиловыми тенями; на шоссе же снега не было – еще утром вдруг ударившее солнце растопило намерзшую за ночь корку льда, и теперь асфальт блеснул, как антрацит, искрящимся мокрым черным блеском.

По канавам стремительными потоками шумно неслась вешняя вода, раскачивая былинки по обочинам и заливая дощатые мостики-переходы. У канав, звонко гомоня, копошились дети, пускали кораблики под бумажными парусами, строили плотины. На деревьях, на крышах без умолку, по-весеннему весело щебетали воробьи, суетливо перепархивая с места на место. Все сверкало, все рождало терпкий весенний запах...

Хороша весна под Москвой!

Прислушиваясь к шуму мотора и щурясь от яркого света, с радостным ощущением всем существом своим весны и жизни, Денис Бушуев ехал в Москву. Расстояние от дачи до Дорогомиловской заставы он покрывал ровно за двадцать пять минут, и теперь, подъезжая к Еврейскому кладбищу, машинально взглянул на часы: как обычно – двадцать пять минут.

На Большой Дмитровке, у здания Верховной Прокуратуры СССР, он застопорил, с маху притиснул машину к обочине тротуара, выключил мотор и вышел из машины, шумно хлопнув дверцей.

Было жарко. Войдя в вестибюль, он расстегнул серое, добротного покроя летнее пальто, ладно сидевшее на его могучей фигуре, и снял шляпу. Вытер платком слегка вспотевший лоб.

Белокурые волосы растрепались, кое-где поднялись вихрами. За короткие годы восхождения по лестнице славы Денис Бушуев мало изменился внешне и мало походил на известного писателя – по-прежнему во всем его облике проглядывало то основное, главное, волжское, что составляло сущность его. И этого главного, грубо-русского, не уничтожили ни изящная одежда, ни новые черточки в характере, ни уверенность в движениях и в речи. Более того, грубоватая красота его стала как-то еще рельефнее, еще выпуклее: по-прежнему на широкоскомом смуглом лице его играл здоровый, крепкий румянец и по-мужицки откровенно сверкали в мягкой улыбке крупные белые зубы. Лишь в карих, вдумчивых глазах его появились какая-то надежная твердость и спокойствие.

В огромном зале, с тяжелым лепным потолком, толпился народ, гудели голоса, медленно и бесстрастно расхаживали дежурные милиционеры. Вглядевшись в толпу, Бушуев отметил почти одинаковое выражение лиц: скорбное – у женщин, окаменелое – у мужчин.

Бушуев встал в очередь, вытянувшись вдоль легкого барьерчика с сеткой поверху, за которым виднелись головы секретарей и делопроизводителей. Очередь продвигалась сравнительно быстро, разливаясь на несколько ручьев. Люди за барьерчиком спрашивали фамилию просителя, разыскивали какие-то бумажки, небрежно протягивали их в сетчатое окошечко.

– Вам в просьбе отказано... Следующий!

– Обратитесь в Гулаг... Следующий!

– В просьбе отказано... Следующий!

– Товарищ Вышинский принимает по вторникам, четвергам и субботам. Подайте заявление... Следующий!

– Ваш муж осужден без права переписки. Естественно, что от него нет сведений... Следующий!

Подошла очередь Бушуева.

– Мне сегодня назначено свидание с товарищем Вышинским.

Узкоплечий человек в желтеньком пиджачке угрюмо взглянул на просителя.

– Как фамилия?

– Бушуев.

Узкоплечий человек порылся в бумагах, дернул плечом и куда-то ушел быстрой, вихляющей походкой. Через несколько минут он вернулся.

– Совершенно верно, – сказал он спокойным бесстрастным тоном. – Вам назначено свидание в три часа. Но товарищ Вышинский вызван на экстренное заседание. Вас примет его заместитель товарищ Муравьев. Он в курсе вашего дела.

Бушуев секунду поколебался: «Ах, не все ли равно, – подумал он. – Если нарком сдержал свое слово и переговорил с Вышинским, то какая разница, с кем я буду иметь дело – с самим ли Вышинским или с его заместителем».

– Хорошо... – согласился он.

– Ваши документы, пожалуйста.

Бушуев подал паспорт и членскую книжку Союза писателей. Узкоплечий человек просмотрел документы, сверил фотографию, написал пропуск, снова куда-то ушел, видимо, к тому, кто подписал пропуск, и вручил пропуск Денису.

– Второй этаж... Там вас проведут, куда нужно. Гардероб внизу, налево.

Оставив в гардеробе пальто и шляпу, Бушуев поднялся на второй этаж. Двое молодых в штатском проверили его документы и сверили с какой-то бумагой.

– Ваша фамилия?

– Бушуев.

– Имя-отчество?

- Денис Ананьевич.
- Оружия нет?
- Нет.

Молодцы скользнули глазами по его фигуре.

Перед кабинетом Муравьева – просторная, в три больших венецианских окна, совершенно пустая комната: лишь ковер во весь пол да несколько тяжелых, мягких кресел. Ждать Бушуеву пришлось недолго. Скоро из кабинета вышла молодая женщина и, на ходу смахивая маленьким кружевным платком слезы, быстро прошла в коридор, а грузный человек в роговых очках, появившийся вслед за женщиной в дверях кабинета, коротко осведомился у Дениса:

- Фамилия?
- Бушуев.
- Пожалуйста...

Пройдя еще комнату, где сидели за пишущими машинками две девушки, Бушуев вошел в большой, светлый кабинет Муравьева.

VII

За массивным письменным столом сидел плотный человек, с бритой, круглой, как шар, головой, в темно-синем костюме, щегольски сидевшем на его широких плечах. Склонив блестящую желтой кожей голову, он перелистывал бумаги короткими, сильными пальцами, с пучками черных волос на суставах. Встал, подал Бушуеву руку.

- Садитесь, пожалуйста.

Серые, чуть прищуренные глаза его смотрели умно и слегка устало. Теперь, когда Бушуев увидел Муравьева во весь рост, ему показалось, что синий костюм сидит на прокуроре совсем уж не так щегольски – так сидит штатская одежда на людях, привыкших носить форму: чуть мешковато.

– Я пришел по делу моего деда Северьяна Бушуева, осужденного в 1937 году по обвинению в убийстве... – начал было Денис, сев в широкое, мягкое кресло у стола. – Обвинение, по-моему...

– Знаю, знаю... – поспешно перебил его Муравьев. Голос его был низкий, грудной, с каким-то приятным, мягким оттенком. – От Андрея Януарьевича знаю. Да и с делом я успел познакомиться, и даже весьма внимательно проштудировал его. Интересное дело. Даже, можно сказать, единственное в своем роде... Статья, конечно, тяжелая: пятьдесят восемь, пункт восьмой. Террор.

Все это он проговорил неторопливо, слегка растягивая слова.

– Конечно, статью при желании можно переквалифицировать на бытовую, благо и предпосылочки к этому найдутся... Минутку, вы сказали «по обвинению в убийстве»... Разве у вас есть сомнения насчет... Папироску? – он любезно протянул Бушуеву массивный серебряный портсигар.

Бушуев закурил. Наблюдая, как быстрым и точным движением Муравьев положил портсигар в карман брюк, Денис подумал, что жест этот очень типичен для военного.

– Да, сомневаюсь, – вздохнув, сказал Бушуев. – Сомневаюсь потому, что по природе своей и по убеждениям дед мой не способен ни на какое преступление, тем более – на убийство.

– Сомневаюсь и я... – тихо сказал Муравьев, задумчиво перелистывая «дело». – Что-то уж тут очень нелепое... – и вдруг, откинувшись назад, негромко сообщил, глядя прямо в глаза Дениса: – А ведь я вас вижу не в первый раз, товарищ Бушуев...

На этот раз серые глаза его смотрели холодно и чуждо.

– Откуда? – оговорился от неожиданности Денис: вместо «вижу» – ему послышалось «знаю».

Муравьев рассмеялся, показывая белые и чересчур уж ровные зубы – видимо, вставные.
– Ничего особенного. Просто осенью был в МХАТе на премьере ваших «Братьев». Сидел с женой в четвертом ряду и видел, как вас вызывали. Даже сам похлопывал, а жена – так та даже присоединила и свой голос к общему хору голосов «Автора!»... Да-а, успех большой. Отлично играли Топорков и Москвин. Какой на редкость убедительный и сильный образ бандита-повстанца создал Топорков! Какой ум, какая силища!.. Хорошая пьеса, хорошая...

– Спасибо... – холодно поблагодарил Денис, чувствуя, что за сло вами и за тоном Муравьева кроется что-то недоговоренное и неприязненное.

– Только вот что, – продолжал Муравьев, все так же пристально глядя на Бушуева. – Объясните-ка мне, товарищ Бушуев: отчего это у наших писателей отрицательные персонажи, как правило, и сильнее, и убедительнее положительных?

Бушуев задумался, вопрос был неприятный. «Ну, на чёрта все это ему надо?» – с тоской подумал он.

– Я думаю, что мы не очень талантливы, за редкими исключениями, и просто бессильны показать положительного героя живым человеком...

– Э-э-э, бросьте, бросьте! – досадливо поморщился Муравьев и ловко, привычно положил ногу в ярко начищенном желтом ботинке на ляжку другой ноги. Такой прыти Бушуев не ожидал от заместителя Верховного прокурора и, проследив глазами полет желтого ботинка, незаметно улыбнулся. Муравьев же, опершись подбородком на сцепленные вместе короткие пальцы с волосатыми суставами, задумчиво повторил еще раз:

– Бросьте, бросьте... Вы ведь отлично знаете, что не в этом дело. Ну, да бог с вами!.. Но вот что еще – не сердитесь – я бы ваших «Братьев» вовсе не стал ставить. Все эти «Братья», «Страхи», «Земля» – все это в плане коммунистического воспитания масс дает отрицательный резонанс.

Он нервно встал и прошелся по кабинету. Бушуев внимательно следил за ним. Видно было, что Муравьев взволнован. Он подошел к окну и задумался, глядя на улицу.

Долго молчали.

За окном слышны были гудки автомобилей, неясный шум голосов. Где-то монотонно и надоедливо стучал пневматический молоток. Над Москвой по голубому сверкающему небу лебедями плыли кучевые облака. Сквозь открытую форточку откуда-то доносился тонкий, еле уловимый запах набухающих почек тополей.

– Революционная романтика хороша, когда все в ней находится в гармонии и равновесии, – тихо, не поворачиваясь, сказал Муравьев. – Нельзя допускать, чтобы в произведениях советских писателей не было равновесия сил...

И вдруг рассмеялся широко и откровенно. Круто повернулся.

– Слушайте, товарищ Бушуев, расфилософствовались мы с вами, а про дело-то и забыли...

Бушуев тоже как бы разом очнулся. И ему стало стыдно. Он поймал себя на том, что с интересом слушал Муравьева. И за этим отвлеченным разговором совсем позабыл про деда Северьяна. Впрочем, тут же подумал, что разговор этот, затеянный Муравьевым, вовсе уж не был таким отвлеченным, каким мог показаться на первый взгляд, – все это непременно касалось не только его, Дениса, но и находилось в какой-то неуловимой связи с делом старика.

Между тем Муравьев снова сел и снова стал перебирать бумаги, хмуро и сосредоточенно.

– Вы простите, товарищ Бушуев, – не поднимая глаз, тихо сказал Муравьев. – Северьян Бушуев ваш родственник, и мой вопрос, быть может, не совсем учтив. Но скажите, – вы-то в деревне жили, а я никогда не жил, – скажите, неужели ненависть к советской власти у «отрицательных персонажей» так велика, что восьмидесятилетний старец способен убить коммуниста только потому, что он – коммунист? Это я, конечно, не о вашем деде, а так, в принципе спрашиваю.

Карие глаза Дениса блеснули холодным, злым блеском. «Что он плетет? То – так, то – так!» – мелькнуло у него.

– Послушайте, товарищ Муравьев, я пришел к вам, чтобы постараться облегчить судьбу старика, если это возможно, а вы... Я повторяю: я не верю в то, что Мустафу Ахтырова убил мой дед. Да ведь и вы, кажется, всего пять минут назад склонялись к тому же...

Муравьев усмехнулся.

– Больше того: я убежден, что убил не он... – спокойно сказал Муравьев.

Бушуев во все глаза жалко и как-то растерянно посмотрел на него.

– Как так?

– Да вот так – из всего следственного материала видно... Да что вы в самом деле! – вдруг воскликнул он. – Ведь Северьяна Бушуева уже и в саду не было во время убийства!..

– Почему же... так почему же его не освободят? – все также растерянно спросил Бушуев.

Муравьев нервно дернул плечом.

– Да ведь тут сознание... или круговая порука – как угодно называйте. Быть может, старик просто покрывает преступника. Это у «отрицательных персонажей» бывает. Народ они крепкий.

Бушуев сидел, опустив голову. Десятки мыслей, как стрижи, метались и сталкивались. «Покрыл!» Кого мог покрыть дед Северьян, и почему? Алима? Кладовщика? Гришу?

– Вот что! – решительно сказал Муравьев, закрывая папку и кладя на нее тяжелую ладонь. – Конечно, ваши костромские ротозеи никогда не найдут убийцу. Дед же ваш вряд ли выдаст его. У меня на этот счет есть сведения. Мы его в лагере недавно допросили – и слышать не хочет!.. Поэтому ну-ка разберемся, Денис Ананьевич: можно ли освободить человека при такой неудобной ситуации?

«Кончено, – подумал Бушуев, – ни за что не освободят».

– Дед мой был далек от политики. В этом я могу вас заверить, – сухо сказал он.

– Ну, да ведь и не сторонник же он был советской власти. И не мог им быть. Все-таки бывший собственник, свой трактир, свой пароход, свои мельницы...

– Мельниц у него никогда не было... – поправил Денис.

– Разве? А я думал, что были... Но не в этом дело. Дело в том, что за вас просил нарком, а Андрей Январевич поручил мне помочь вам. И я вам помогу, даю слово... Путь пока будет такой: дело пойдет на пересмотр в Спецколлегию Верховного Суда. Статью с пятьдесят восьмой попробуем перекалвалифицировать на бытовую. Мотивировка для освобождения – преклонный возраст, чистосердечное раскаяние, и так далее, и так далее...

– Спасибо... – искренне вырвалось у Дениса.

Муравьев качнул бритой головой и встал. Поднялся и Бушуев.

– Да ведь что ж – спасибо. Ваши заслуги. Вы напишите-ка старику, чтоб не упрямылся и назвал преступника, – улыбнулся Муравьев, показывая неестественно ровные и белые зубы. – И еще: не сердитесь на критику ваших «Братьев». Ну, будьте здоровы.

Бушуев попрощался и вышел.

VIII

Спускаясь по широкой лестнице, и позже – в машине, по дороге домой, Бушуев неотступно думал о тайне деда Северьяна. Думал и о Муравьеве. Странное, сумбурное впечатление произвел он на Дениса. Было в нем и что-то располагающее, и что-то неуловимо тонкое, страшное.

Бушуев очень торопился, надо было съездить на дачу, а вечером быть в Политехническом музее, где ему предстояло читать на литературном вечере. За Еврейским кладбищем шоссе вскоре вытянулось в ровную широкую ленту. Бушуев дал полный газ. Машина рванулась, наби-

рая скорость. Ровно и монотонно гудел мотор. Длинный дощатый забор по правую сторону от шоссе слился в серую сплошную полосу.

Солнце било в глаза. Денис опустил козырек над стеклом. Но и козырек не спасал. Мокрый, блестящий асфальт, как от зеркала, отбрасывал жаркие, веселые лучи солнца. И в этом черно-стальном блеске он вдруг увидел прямо перед собой миниатюрную фигурку девочки, выбежавшую на шоссе за мячом. Боковым взглядом, в какую-то сотую долю секунды, он заметил между кюветом и забором старушку в темном зимнем пальто, стоявшую на тропинке. Ему хорошо запомнилось ее испуганное, белое, как известь, лицо и то отчаянное движение рук, с которым она бросилась на шоссе через кювет.

Все, что произошло потом, Денис никогда не мог восстановить в точности в памяти. Ему запомнилось лишь, что действовал он подсознательно, повинувшись не разуму, а какому-то инстинкту отчаяния. Схватив мяч и заметив мчавшийся на нее автомобиль, девочка метнулась сначала назад, потом – к другой стороне шоссе, заметалась и вдруг присела на мокрый асфальт, в ужасе охватив руками головку в вязаной шапочке, из-под которой выбивались растрепанные кудряшки волос. Тормозить было поздно. Денис резко свернул направо. Машина взвизгнула, перелетела кювет, стукнулась колесами о наружный край кювета, вымахнула на тропинку и врезалась в высокий забор, дробя и ломая старые доски. Последнее, что еще помнил Денис, это – то, что правой рукой, предплечьем, он успел перед ударом машины о забор прикрыть лицо.

Потом наступил мрак. И – тишина.

IX

В начале апреля Ольга Николаевна Синозерская уезжала с дочерью в Крым. Уезжала надолго, месяца на полтора. Допросы, в связи с побегом брата из концлагеря, продолжавшиеся почти целый месяц, измотали ее в конец. Аркадий Иванович настоял на том, чтобы она взяла отпуск.

За неделю до отъезда, погожим днем, Ольга отправила на прогулку четырехлетнюю дочь Танечку вместе с матерью покойного мужа Еленой Михайловной, а сама принялась за разборку бумаг и старых писем. Деревянная зимняя дача, в которой Ольга снимала небольшую комнату на втором этаже, стояла всего лишь в пяти километрах от Москвы, неподалеку от шоссе, в старом запущенном саду, настолько густом, что летом солнце совсем не заглядывало в окна.

Комнатка была маленькая, тесная. У единственного окна стоял небольшой письменный стол, у левой стены – кровать, на которой спали Ольга и Танечка, по другую сторону окна стоял старый плюшевый диван, на нем спала Елена Михайловна. Посреди комнаты кривился круглый обеденный стол; в углу, у двери, нелепо выпячивался платяной шкаф, к боку его прилепилась высокая этажерка, туго набитая книгами.

Писем было немного. Это были письма за последние три года, те, что приходили после ареста и расстрела мужа. Были и последние письма из концлагеря от брата Дмитрия. В январе Дмитрий бежал из лагеря. До марта месяца Ольгу Николаевну не тревожили – лишь следили за нею. А с начала марта и весь март таскали на Лубянку и допрашивали, пытывали, не знает ли она чего-либо о брате. Дмитрий же как в воду канул. На одном из последних допросов следователь сказал ей, что всего вероятнее – Дмитрий погиб в тайге.

Это новое горе сильно подточило ее здоровье. Аркадий Иванович был прав: отпуск был необходим.

Места в комнате было мало, и, чтобы удобнее было, Ольга расположилась на ковре, на полу. Было душно. Хозяйка, несмотря на погожий день, еще с утра начала топить.

«Пора бы уж рамы выставить», – подумала Ольга и, встав с пола, подошла к окну и распахнула форточку. Свежий, прохладный воздух ворвался в комнату вместе с терпким запахом

ранней весны. За окном слегка покачивала тяжелыми лапами могучая ель. Ольга взглянула на нее и улыбнулась, сверкнув полосками мелких и чистых зубов. Она вспомнила, как однажды Аркадий Иванович пошутил, что он когда-нибудь срубит эту ель, так как ревнует Ольгу даже к этой ели. Несмотря на то, что слово «ревность» он частенько употреблял, однако с объяснением медлил – мешала чересчур уж сильная любовь к Ольге.

Она нашла в куче писем последнее письмо Дмитрия и, не присаживаясь, а лишь облокотясь на стол, развернула письмо, склонив голову. Стройная, с тонкими руками, покрытыми еле заметными золотистыми волосами, и тонкой шеей, она казалась моложе своих лет. Умные, большие, ярко-голубые глаза ее в темных ресницах внимательно перечитывали знакомые строчки. В десятый, в сотый раз она перечитывала это письмо, ища в нем хоть какой-нибудь намек на безрассудный поступок брата. Но, хотя она и считала побег брата безрассудным, где-то в глубине души одобряла его и узнавала в нем брата – такого, каким она знала его с детства: смелого и волевого.

«Ах, Дмитрий, Дмитрий, как нелепо сложилась твоя жизнь! Как светло и радостно ты ее начал и как страшно кончил. Боже, как несчастна наша семья! И когда это только кончится?»

Разобрав письма и отложив нужные в дорогу бумаги, Ольга принялась за книги. Достала с этажерки томик Лермонтова с «Героем нашего времени» – любимой своей вещью, объемистое издание избранных произведений Чехова и «Давида Копперфильда» по-английски. На валике дивана лежала принесенная Аркадием Ивановичем накануне новая книга – поэма Дениса Бушуева «Матрос Хомяков». Ольга не любила советских писателей, но Аркадий Иванович так расхваливал эту книгу, что она согласилась ее прочесть. И теперь, взяв книгу, она положила ее вместе с теми, которые брала с собой, но, секунду подумав, решительно отложила книгу в сторону.

Все, что Аркадий Иванович рассказал ей о Денисе Бушуеве тогда, в театре, на несостоявшемся просмотре «Братьев», – отталкивало ее от автора «Матроса Хомякова».

– После когда-нибудь прочту...

На лестнице послышались тяжелые шаги Елены Михайловны и торопливый стук башмачков Танечки. Шумно распахнув дверь, Танечка, как ветер, влетела в комнату и повисла на шее у матери. Испуг ее давно прошел, на круглых, пухлых щечках гулял румянец, маленькие руки были испачканы пахучей весенней землей. Голубые глаза, такие же, как у Ольги, сверкали беспричинной детской радостью.

– Мама!.. мамочка! Если б ты знала, что случилось!..

– Стрекоза, отпусти, задушишь... – смеясь, отрывала ее от себя Ольга Николаевна.

Вслед за Танечкой вошла Елена Михайловна, грузная и взволнованная. Сняв с седой головы черную шляпку и не снимая пальто, она тяжело опустилась на диван и, путаясь и сбиваясь, рассказала Ольге о том, как автомобиль чуть-чуть не задавил Танечку.

– Все это было так ужасно, Олюшка, что я до сих пор – обрати внимание – не могу прийти в себя, – торопливо стала она рассказывать, комкая сухими старческими руками перчатки. – В первую минуту я схватила Танечку на руки и отбежала – обрати внимание – довольно далеко от страшного места (у Елены Михайловны была маленькая слабость: в разговоре она кстати и некстати вставляла невинную фразочку «обрати внимание»; за глаза знакомые так ее и звали: «Елена Михайловна – обрати внимание»). Очухавшись же, я сунула Танечку какой-то бабе, попросила ее не подпускать девочку к страшному месту, а сама вернулась к разбитому автомобилю... Вот... Когда я подошла, автомобиль лежал – обрати внимание – на боку, изломанный и засыпанный досками забора. И стояла огромная толпа публики. Но я видела, как вытащили из-под обломков шофера. Я не могла его разглядеть, потому что он был весь в крови... Ах, как это было страшно!.. Потом приехала скорая помощь, и его увезли. Я считаю, Олюшка, что нам немедленно надо его разыскать и – во-первых: узнать – умер он уже или еще не умер; во-вто-

рых, если он еще не умер, то хотя бы перед смертью надо свезти ему цветов... Ведь все в толпе говорили, что разбился он потому, чтобы не задавить нашу Танечку... Я думаю, Оленька...

Но Ольга уже не слушала ее. Она торопливо спустилась вниз, к хозяйке, и, найдя в телефонной книге номер телефона больницы имени Склифосовского – позвонила.

– Больница Склифосовского?

– Да... – вяло ответил женский голос.

– Я бы хотела узнать... не у вас ли находится человек, минут сорок назад разбившийся на машине на Можайском шоссе?

– Как фамилия?

– Не знаю.

– То есть как – не знаю? Вы кто?

– Я мать девочки... Ну, одним словом, девочки, из-за которой произошла катастрофа.

Он...

– Одну минутку! – перебил ее женский голос. – Я сейчас узнаю.

Спустя некоторое время к телефону подошел дежурный врач. От него Ольга Николаевна узнала, что пострадавший действительно находится в больнице имени Склифосовского, что зовут его Денис Ананьевич Бушуев, тот самый Денис Бушуев, книгу которого принес ей Аркадий Иванович; что положение его, несмотря на то, что серьезных поранений и переломов нет, – очень тяжелое из-за сильного сотрясения мозга, и находится он в бессознательном состоянии.

– Я могу навесить его? – спросила Ольга.

– Нет, – кратко ответил врач. – Пока не вернется к нему сознание – никаких визитов. Звоните, справляйтесь. Когда можно будет – мы вам скажем.

– Благодарю вас.

Ольга повесила трубку и неторопливо, устало пошла вверх. Все это происшествие так перепугало и разволновало ее, что она никак не могла прийти в себя и собраться с мыслями. От сознания, что вот сейчас, в эту минуту у нее уже не было бы дочери – холодели виски и мелко, нервно дрожали кончики длинных пальцев. Она поймала себя даже на нехорошей мысли – на том, что в больницу она позвонила не потому, что уж очень боялась за судьбу человека, спасшего жизнь ее дочери, а потому, главным образом, чтобы удостовериться, что все это было, было. Что весь этот ужас, в самом деле, был и прошел, прошел...

Войдя в комнату, она обняла Танечку, крепко прижала ее к себе и тихо, беззвучно заплакала. Дочь – это все, что у нее осталось после того, когда дружная, крепкая семья была разбита, когда отца Танечки, а ее мужа – убили, когда жизнь потеряла всякий смысл, когда в течение долгого времени она ощущала лишь черную пустоту вокруг себя...

Вечером приехал Аркадий Иванович Хрусталеv. Он справился у хозяйки об Ольге Николаевне – дома ли она – и, оставив внизу пальто и шляпу, уверенной и твердой походкой пошел вверх.

Аркадий Иванович был очень красив. Но не той приторно-сладкой красотой, которую так часто не любят женщины, а хорошей мужской красотой. Высокий, молодой – ему было тридцать лет – хорошо сложенный, черноволосый, с большим чистым лбом и серыми, упрямыми глазами, с мягкими манерами, он сразу приковывал к себе внимание, где бы ни появлялся. С ранних лет отчаянный спортсмен, он перепробовал все виды спорта, вплоть до бокса. От бокса осталась память: маленький шрам на круглом подбородке, чуть пониже левого уголка губ, всегда немного лиловатых – этот цвет губ слегка портил его. В студенческие годы он особенно увлекался легкой атлетикой, а четыре года назад увлекся теннисом, вышел на первое место и получил звание чемпиона Москвы. Кинооператор по профессии, он как-то умел сочетать дело с развлечениями: работа в киностудии не мешала спорту, спорт не мешал работе. Он считался отличным кино оператором; за съемку художественного фильма «Ночь над столицей» Аркадий Иванович был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Полгода назад он влюбился в Ольгу Николаевну. Встретились они неожиданно-негаданно у общих знакомых – в семье старого художника Лившица. С этого дня Аркадий Иванович ни минуты не знал покоя – любовь оказалась страстной и беспощадной. Ольга же никак не могла разобраться в своих чувствах: иногда ей казалось, что она любит Хрусталева, иногда – и чаще – что вовсе не любит, а просто привыкла к нему.

– Аркадий, я завтра не могу ехать, – первое, что сообщила Ольга, когда Аркадий Иванович вошел в комнату.

– Почему? – удивился он, целуя Танечку и усаживая ее к себе на колени.

Ольга Николаевна рассказала о происшествии и добавила:

– Я должна знать, что с ним будет...

Аркадий Иванович согласился с нею. Отъезд решили отложить.

– Как странно, – сказал Аркадий Иванович, закуривая папиросу, – только вчера я принес вам его книгу. И этот наш неудачный поход на его пьесу. И вдруг – он в центре событий.

– Да... – вздохнула Ольга Николаевна, беря книгу Дениса Бушуева и внимательно рассматривая обложку и титульный лист. – Жаль, нет портрета... А знаете, я ведь эту книгу не хотела брать с собой, отложила, как говорится, на «потом». Теперь придется взять.

Х

В широкие окна больницы беспощадно бил солнечный свет и, пронизывая стекла в переплетах рам, светлыми квадратами ложился на кафельный пол. Денис Бушуев лежал в отдельной палате, с окнами в сад, и солнце по утрам сюда не заглядывало; оно заглядывало лишь после полудня, и то ненадолго.

Возле постели Бушуева сидели Ананий Северьяныч и художник Лапшин – друг Дениса – маленький, худенький человек лет двадцати восьми, бледный и со значительной лысинкой на небольшой шишковатой голове. Коричневый костюм сидел на нем как-то неловко, обвисло. Лапшин беспрерывно, нервно поддегивал на коленях брюки и шурил на Дениса черные, подслеповатые глаза.

Ананий Северьяныч, только накануне приехавший из Отважного, легонько чесал спину и вздыхал. Одет он был чистенько: в новехонькую синюю рубашку-косоворотку и в блестящие хромовые сапоги. С тех пор, как Денис стал знаменитостью и деньги потекли в семью Бушуевых ручьем, Ананий Северьянович стал не только непомерно горд в обращении с односельчанами (оставаясь, однако, робок и несмел в присутствии горожан), но и проявил новую черту характера, которой никто в нем не подозревал, включая даже Ульяновну, – он стал ужасно франтить: частенько покупал новые вещи, а праздничную одежду стал даже носить по будням, и снимал ее лишь тогда, когда ехал зажигать или тушить бакена, – службу Ананий Северьяныч, несмотря на преклонный возраст и просьбы сына, не бросал.

Денис лежал на спине, вытянувшись во весь свой огромный рост. Левая нога его, рука, голова и лицо были забинтованы. Карие глаза смотрели на белую стену как-то равнодушно и тускло – он плохо видел. Это был первый день, когда ему разрешили свидания. Расспросив отца о матери и о сыне Алеше, Денис справился у Лапшина о московских делах и об общих знакомых. Лапшин подробно все рассказал и сообщил, что к трем часам придет группа писателей навестить его.

– Папаша...

– Чего тебе, Дениска? – встрепенулся старик.

– Папаша... напиши, пожалуйста, деду Северьяну, что... я был в прокуратуре и что верховный прокурор обещал пересмотреть его дело... Продиктуй письмо Мише или Насте, что ли...

– Чегой-то? – не понял Ананий Северьяныч.

– Или вот что... Кирилл, напиши лучше ты... отец все перепутает, – сказал Денис Лапшину и объяснил, что именно надо написать.

– Только про меня не пиши ничего... ну, про больницу-то... – добавил Бушуев через некоторое время.

Лапшин обещал немедленно послать письмо.

– Ведь этакое наказание, – вздыхал Ананий Северьяныч, сокрушенно глядя на сына и часто моргая глазами. – Другие ездят на овтонобилях и – хоть бы тебе что, а ты, Дениска, скачешь, стало быть с конца на конец, как оглашенный, ни хрена не смотришь вперед-от, вот оно и получается... больницей дельце-то оборачивается с такой ездой. Хорошо еще, что насмерть не зашибся. А кто бы тогда семью-то кормить стал? А? Ты об семье-то думаешь аль нет? Чать сын у тебя, да я, да мать...

Лапшин улыбнулся и кашлянул. Улыбнулся под бинтом и Бушуев, но тут же почувствовал боль – губы были разбиты. Простодушные упреки отца казались ему сладкой, невыносимо сладкой музыкой.

– А что дом, папаша?

– Отстроили, Дениска, отстроили. Закончили, стало быть. Осталось налишники навесить да на веранде перила поставить. Не дом получился, Дениска, а цельный дворец... самому государю императору, царю Николаю убиенному впору, стало быть с конца на конец, в ём жить, а не нам... Да вот Гриша Банный, дурень стоеросовый, намедни стекло в светёлке разбил, в твоей-то комнате. Микстуру, говорит, я такую придумал, что ежели им натереть стекло оконное, то ни в жись пыль к ему, стало быть, не пристанет. Ну, мажь, говорю, мажь, коли так... А он возьми да и намажь! Обормот долговязый! На второй день стекло бурым стало, как корова у Пашки Назарова, на третий – почернело, а на четвертый, стало быть с конца на конец, лопнуло...

Ананий Северьяныч хотел еще что-то прибавить, но постучали в дверь. Лапшин встал и отворил.

Это была Ольга Николаевна. Она мельком взглянула на Лапшина и Анания Северьяновича, сделала несколько шагов, решительных и уверенных, и стала возле спинки кровати в ногах у Дениса. Из-под расстегнутого светлого пальто выглядывало простенькое шерстяное платье; сумочку она держала предплечьем левой руки, придавив ее к боку. Отбросив со щеки прядь пушистых русых волос, выбившихся из-под плоской меховой шапочки, она внимательно и любопытно посмотрела в карие глаза Бушуева; глаза, переносица и брови – вот все, что она видела.

Наступило неловкое молчание. Лапшин прикрыл дверь и подставил Ольге стул, она поблагодарила, но не села, осталась стоять. Остался стоять и Лапшин, держась за спинку стула, на котором сидел Ананий Северьяныч. Все с любопытством разглядывали незнакомку. Денис же видел лишь белое пятно ее лица и смутные очертания ее плеч и рук – он уже стал уставать от разговоров, и его тянуло ко сну.

– Я пришла справиться о вашем здоровье и поблагодарить вас... Вам не трудно говорить?

– Нет?... ничего... – лениво ответил Бушуев, пытаясь сообразить, кто бы это мог быть. Его сразу поразил ее голос, мягкий и приятный, с какой-то скрытой силой и страстностью. И вдруг он как-то сразу понял, что это непременно мать той девочки. Это было неприятно. Неприятно потому, что теперь не хотелось думать ни о девочке, ни о всем том, что было связано с нею или напоминало о ней.

– Я мать девочки, которую... из-за которой вы разбились, – сказала Ольга, не спуская упорного и внимательного взгляда с тусклых глаз Бушуева и пытаясь заглянуть в них.

Бушуев не отвечал. Снова наступило молчание. Ананий Северьяныч негромко кашлянул и что-то пробормотал.

– При чем тут ваша девочка... – досадливо поморщился Бушуев. – Девочка тут ни при чем... просто испортилось управление...

Вышло, быть может, несколько грубо – так, по крайней мере, показалось Лапшину. Сказал же это Денис не из ложной скромности и не из желания погрубить и покапризничать, как это часто бывает у больных, а все по той же причине: не хотелось думать о девочке. А признайся он – начнутся расспросы, соболезнования, частые посещения, да еще – не дай бог – цветы и фрукты, которых Денис боялся, как огня.

Но он одного не учел: тонкая и умная Ольга мгновенно поняла его. Она едва приметно улыбнулась, показав ямочки в уголках ярких губ, и перевела разговор:

– Я вас ведь никогда не читала, хотя и слышала о вас. Однажды чуть-чуть не попала на ваших «Братьев» в МХАТ...

– Так ведь вы от этого ничего не потеряли, что не читали-то, – так же неохотно ответил Денис и, помолчав, спросил: – А вы кто, по профессии-то?

– Никто. Просто женщина. Мать, – кратко ответила Ольга Николаевна.

«А она забавная», – подумал Денис, пытаясь разглядеть ее, но все было, как в тумане, и, кроме белого пятна лица, он ничего не видел.

– А после смерти мужа – стала машинисткой, – добавила она.

Между тем Лапшин, не отрываясь, как зачарованный, разглядывал ее. Своеобразная красота Ольги поразила его. «Вот бы написать портрет с нее, – думал он. – Только непременно во весь рост. Все дело в этой фигуре, в глазах и в улыбке. И даже не в них: главное, в движениях, в движениях всего: тела, рук, глаз, губ...»

– А как зовут вашу девочку? – лениво спросил Бушуев.

– Танечкой...

– Таня... Что она – очень перепугалась?

– Нет... не очень. Всё хорошо, слава Богу.

Бушуев повернул голову к стене и вяло осведомился:

– А вы что – в Бога веруете?

– Нет... – кратко и быстро ответила она, и в голосе послышалась какая-то новая нотка, не то раздражения, не то нежелания говорить на эту тему.

– И не веровали никогда? – не унимался Денис.

– Когда-то, в детстве... – уклончиво ответила она. – А вам, собственно, зачем знать это?

– Да ведь без Бога-то как, – вмешался вдруг Ананий Северьяныч. – Без Бога оно, стало быть с конца на конец, трудновато...

– А я вас не познакомил, – вспомнил Бушуев. – Это отец, а это – друг, художник Лапшин, Кирилл Осипович.

Ольга Николаевна назвала себя и пожала обоим руки. Ананий Северьяныч мгновенно вспотел от смущения. Вошла сестра, хорошенькая, розовощекая девушка, с подносом в руках, на котором стояли лекарства и лежали шприцы. Ольга Николаевна стала прощаться.

– Я на днях уеду на юг, – сказала она Бушуеву. – И мы, вероятно, больше не увидимся... По крайней мере, до моего возвращения, – нерешительно добавила она.

Бушуев молчал. Этим молчанием, как ей показалось, он давал понять, что он и не хочет больше встречаться. Она быстро со всеми простилась и вышла из палаты.

XI

После нескольких дней визитов, Бушуеву снова запретили свидания – здоровье его ухудшилось. А потом вдруг он стал быстро поправляться. Помогал его железный организм. Вскоре вернулось зрение, поджили ушибы и раны, а в середине апреля он уже встал с кровати.

От Ольги Николаевны он получил письмо из Ялты, в котором она кратко справлялась о его здоровье. Бушуев попытался ее припомнить, но как ни старался – ничего не вспомнил, кроме каких-то смутных, отрывочных фраз, и ее, и своих. Так же кратко и сдержанно Бушуев

поблагодарил ее в ответном письме, и на этом их переписка прекратилась, к великому огорчению Лапшина, который никак не мог забыть Ольгу Николаевну. Он часто вспоминал ее, расписывал Денису, как нечто совершенное и неземное, и сердился на равнодушие Бушуева.

Расхаживая в халате и туфлях по коридору больницы, Бушуев много и сосредоточенно думал.

Странно, удивительно странно сложилась его жизнь. Еще несколько лет назад никто не знал волжского лощмана Дениса Бушуева, а теперь его имя известно всей стране и значилось в первом десятке советских писателей. Слава пришла к нему мгновенная и оглушительная. Первая же его поэма «Матрос Хомяков», появившаяся в журнале «Революция», была сразу замечена критикой, а автор поэмы был отнесен к разряду больших талантливых поэтов. Выпущенная отдельной книгой, поэма выдержала десять изданий в течение полугода. Вслед за поэмой последовала небольшая повесть «Ночь», которая была принята и критикой и читателем еще более восторженно и окончательно укрепила славу Бушуева. Пьеса «Братья», поставленная вначале МХАТом, была подхвачена почти всеми театрами страны и в короткий срок принесла автору полмиллиона рублей. За поэму «Матрос Хомяков» Денис Бушуев был награжден орденом Ленина.

Шумный успех вскружил вначале голову молодому человеку. Всю жизнь нуждавшийся, он стал легко и бездумно тратить деньги, расшвыривал их направо и налево. Подражая другим писателям, он купил большую зимнюю дачу в восемнадцати километрах от Москвы (в самой Москве он не любил жить) в местечке Переделкино. Купил автомобиль заграничной марки «Шевроле», нанял прислугу, шофера, а потом построил еще один дом на Волге, в родном селе Отважном. В этот дом в мае переселились Ананий Северьяныч с Ульяновной и Алеша – двухгодовалый сын Дениса, да Гриша Банный, которого Денис с первого дня смерти Манефы пригрел у себя.

Манефа умерла в вьюжную февральскую ночь после мучительных, длившихся почти двое суток родов. Бушуев был в это время на Кавказе, где с группой писателей разъезжал по городам и колхозам с литературными вечерами. Вызванный телеграммой отца, он уже не застал Манефу в живых, приехал лишь к похоронам. После похорон он долго не мог прийти в себя и целый месяц прожил в Отважном. Похоронили Манефу в селе Спасском, на старообрядческом кладбище под небольшой березкой возле ограды, что примыкала к самому берегу Волги. Денис поставил простой дубовый крест и сколотил скамью возле могилы. И первое время целыми часами сидел на этой скамье. Потом уехал в Москву и стал наезжать в Отважное редко. Все, все на свете исцеляет великий целитель, без которого жизнь была бы невыносима, – время.

Мальчик родился на редкость здоровый, тяжелый. Окрестили его Алексеем. Сразу после смерти Манефы Алешу взяла к себе Финочка. По странному совпадению сестры рожали почти одновременно (роды Манефы были преждевременны). Финочка за неделю до смерти Манефы родила также мальчика, которого назвали Петром. Так Финочка и выкормила обоих мальчиков: и своего, и Манефиного. А позднее, когда Финочка отняла детей от груди, Алешу взяла к себе Ульяновна, души не чаявшая во внуке. Бушуев, бывая в Отважном, заваливал подарками Финочку и старого друга своего, мужа Финочки, Васю Годуна. Вася же Годун оказался не только прекрасным мужем, но и отличным отцом. Несмотря на то, что он знал, что маленький Петя не его ребенок, а Густомесова, он никогда, ни одним словом не попрекнул Финочку, а детей, обоих, прямо-таки боготворил. Кумушки же соседские злобствовали и торжествовали. Особенно усердствовала жена сапожника Ялика. «Блудливые сучонки, – говорила она про Манефу и Финочку, – нарожали подзаборников. А где отцы-то?.. И как это муж-от, младшей-то, Фаинки-то муж как смотрит?.. Ох, бесстыжие, бесстыжие...»

Говорят, придет беда – отворяй ворота. Через месяц после смерти Манефы погиб брат Дениса Кирилл. В Каспийском море взорвался танкер «Советская Грузия», на котором плавал матросом Кирилл. Погибла вся команда, за исключением первого помощника капитана и

кочегара, каким-то чудом уцелевших. Денис предложил Насте вместе с детишками переехать из Астрахани в Отважное, но Настя отказалась и вскоре вторично вышла замуж за машиниста землечерпалки. В отличие от Ульяновны, долго убивавшейся по сыну, Ананий Северьянович довольно быстро успокоился и однажды, к великому негодованию Ульяновны, даже высказался довольно кощунственно:

– Да ведь сынок-от, Кирилл-от, был у нас, Ульяновна, никудышный, незадачливый... Вот кабы кормилец-то наш, Дениска бы погибнул – беда... Бог-от знат, что делает.

В конце января, при первом массовом награждении писателей орденами и медалями, Денис Бушуев получил орден Ленина в первом десятке писателей.

С самого начала своего восхождения по лестнице славы, Бушуев принялся хлопотать за деда Северьяна. Но все его попытки освободить старика из концлагеря или как-то смягчить его судьбу оканчивались неудачами. Наконец, на одном из Кремлевских банкетов, устроенном по поводу декады Таджикского искусства, куда были приглашены и гости – известные ученые, писатели, артисты, – Денис Бушуев был представлен наркому Лазарю Кагановичу, страстному поклоннику Бушуева. Денис рассказал ему в двух словах о дед Северьяне. Нарком переговорил с Вышинским. За этим разговором последовало свидание с Муравьевым. Указания Муравьева на то, что дед Северьян, по всей видимости, взял на себя чужое преступление, – теперь казались Денису совершенно неправдоподобными, и, сильно взволнованный вначале, он совсем успокоился, решив, что это ни на чем не основанное предположение. И по-прежнему все это дело казалось глубокой, необъяснимой тайной.

В конце ноября, за четыре месяца до катастрофы, кинофабрика «Мосфильм» приступила к павильонным съемкам фильма «Темный лес», сценарий для которого был написан Бушуевым совместно с режиссером Марком Капланом по пьесе «Братья». На съемках Денис встретился с актрисой Верой Стекловой, исполнявшей главную женскую роль в фильме, женщиной молодой, красивой и очень талантливой. Он увлекся ею. Казалось ему, что и она увлечена им. Они сошлись. Однако увлечение это у Бушуева быстро прошло, как только он понял, что Вере нужен не он, а его деньги и слава, и любит она не его, а только их. Бушуев порвал с нею, перестал бывать на кинофабрике и почти безвыездно стал жить на своей подмосковной даче, работая над новой вещью – романом «Алый снег», который начал еще в первый год приезда в Москву. Его единственными гостями в это время были лишь закадычный друг Лапшин и архитектор Белецкий. Но вдруг он бросил работу над романом и вернулся к поэме о Грозном, которую давно вынашивал и для которой много собрал материала.

Любовь Николая Ивановича Белецкого к Денису переросла за это время почти в отеческую. Он гордился тем, что вывел «бурлачонка» на путь литературной славы, и ревниво следил за его успехами. Он внимательно читал все, что писалось о Денисе Бушуеве, и малейший упрек критики воспринимал, как личную обиду, и мучительно переживал его.

Внимательно следила за успехами Дениса и Варя. Но следила издали. Как-то так случилось, что с объяснения Анны Сергеевны с Бушуевым на пароходе Варя только один раз встретила с Бушуевым. В то самое лето, когда они с матерью были в Крыму, в нее влюбился в Евпатории немолодой профессор Московской консерватории Илья Ильич Кострецов и, по возвращении в Москву, сделал ей предложение. Ей, как пушкинской Татьяне, «все были жребии равны», и она вышла замуж за Илью Ильича. Не обошлось, конечно, это дело и без участия Анны Сергеевны. Она видела, что Варя все еще сильно любит Дениса, и замужество представлялось Анне Сергеевне лучшим выходом для дочери, тем более, что Илья Ильич нравился Анне Сергеевне и казался очень подходящей партией для дочери. И она, так сказать, «подтолкнула» Варю на этот брак. Однако скоро, очень скоро стала жалеть об этом. Не потому, что муж Вари оказался плохим, нет, он оказался очень хорошим человеком и мужем, а потому, что к этому времени стало ясно, что Дениса Бушуева ждет оглушительная слава и «блестящая карьера», как любила говаривать Анна Сергеевна, применяя старорежимное выражение.

Но думать об этом было поздно, и Анна Сергеевна смирилась, хотя долго не могла простить себе ошибки в выборе жениха для дочери. О том же, что произведения Бушуева «типично советские», что в свое время она ставила в вину Денису, Анна Сергеевна как-то сразу позабыла и больше об этом не вспоминала. Встретилась Варя с Бушуевым на премьере «Братьев» в МХАТе. Они – Белецкий, Анна Сергеевна, Варя и ее муж – сидели в четвертом ряду партера. В антракте Денис подошел к ним. Смущенный обращенными со всех сторон на себя взглядами и аплодисментами, раздававшимися в зале, как только публика узнала его, он всего лишь одну минуту побыл с Белецкими и ушел за кулисы.

Катастрофа как-то снова сблизила Анну Сергеевну с Бушуевым. Она вместе с Белецким почти ежедневно навещала Дениса в больнице. (Варя в это время была в концертном турне в Сибири.) Навещали Дениса очень многие и часто: писатели, артисты, друзья и читатели, случайно узнавшие о несчастье.

В середине мая Бушуев выписался из больницы и сразу же получил радостное известие: дело деда Северьяна пошло на пересмотр в Спецколлегию Верховного Суда СССР. Бушуев справился у Муравьева; Муравьев заверил его, что самое позднее – в начале июня дело будет слушаться Спецколлегией.

ХII

После ужина все перешли на веранду. На ступеньках веранды играли в карты шофер Дениса Бушуева Миша и Колька – шофер известнейшего и богатого писателя Алексея Большого. Завидев шумную компанию, игроки поспешно ушли в гараж – доигрывать неоконченную партию в «козла».

Теплый майский вечер окутал Переделкино пряной тьмой. Одурающе пахло черемухой и молодыми листьями тополей. Бушуев включил свет на веранде, вспыхнули под потолком золотистые шары, и свет их сразу вырвал из темноты кусок сада: клумбы с первыми цветами, кусты жасмина, пышно навалившиеся на перила веранды, и песчаную дорожку, плотно утрамбованную только что отшумевшим дождем.

Налегли на шампанское. Вынесли на веранду электрофон. Пили за все подряд: за выздоровление хозяина дома – Дениса Бушуева, за уезжающего в Польшу его друга художника Лапшина, за молодую поэтессу Наточку Аксельрод – задорную и циничную девушку, в очках и с прыщиками на лбу, за майский вечер и, конечно, за здоровье самого «Хозяина»².

С веранды видны были залитые огнями дачи соседей: Леонида Леонова, Серафимовича, контр-адмирала Топикова. И слышен был лязг буферов на железнодорожной станции.

Странным островком было это подмосковное местечко Переделкино. Начиная с середины тридцатых годов, когда по всей стране лилась кровь, а живые – замирали от страха, в Переделкине веселились, пили и танцевали. Переделкино – это государство в государстве, оно живет особой, своей жизнью, иной, чем вся двухсотмиллионная страна. Только жители окружающих убогих и нищих деревень, да Кремль, да кое-кто из москвичей знали о существовании «райского местечка» Переделкино. Местные колхозники с ненавистью и завистью смотрели на великолепные машины жителей Переделкина, на богатые дачи за высокими заборами, с удивлением слушали летними ночами томную непонятную музыку (заграничные пластинки) и, качая головами, вздыхали: «Веселятся, дьяволы... Им – что? И хоть бы коммунисты были – а то ведь – беспартийные...» Это было не совсем так: были среди обитателей Переделкина и коммунисты, и даже – довольно большое количество. Но весь секрет заключался в профессиях. Построился здесь народ исключительный: крупные писатели, режиссеры, композиторы... Белыми воронами были среди них два адмирала и один генерал-лейтенант. Купил себе здесь

² Так в СССР люди, близкие к Кремлю и правительству, называли Сталина.

просторную дачу и разбогатевший Денис Бушуев. Жили на этой подмосковной даче – сам Денис, домработница Настя да шофер Миша. Приехал из Отважного погостить к сыну еще Ананий Северьяныч.

Пили много и дружно. Подпоили волжанку Настю, и она уже успела разбить дорогую вазу для фруктов, купленную Бушуевым осенью 1939 года в Польше. Белецких среди гостей не было, они сами принимали гостей в этот день.

Композитор Крынкин, известный автор музыки к фильмам и музыки к массовым песням, худой, как вобла, в тонком темном костюме, в пенсне, блестя дорогим перстнем на пальце, держал Анания Северьяныча за пуговицу шелковой голубой рубахи и внушал ему:

– П-поймите, Ананий Северьяныч... сын ваш а-агромный т-та-лант. И – ш-широкая натура...

– Да ведь оно как сказать... – поеживался Ананий Северьяныч. – Поначалу рос чистым, стало быть с конца на конец, шелопаем...

– Ш-шелопаем? – икнул композитор.

– Чистым.

Патефон журчал томное танго. Сжимая разомлевшую Наточку Аксельрод, сценарист Кирюхин пьяно, но точно выделял замысловатые па (он специально учился западным танцам в лучшей московской школе у Лили Цфасман). Положив прыщавое лицо на плечо Кирюхину, Наточка вздыхала и охотно отвечала на пожатия руки Кирюхина. Танцевали еще несколько пар, и танцевали в большинстве – хорошо.

– А Борька Густомесов в этом доме не бывает! – громко сообщила жена писателя Батаева, хорошенькая молоденькая блондинка, развалилась в плетеном кресле и протягивая Денису пустой бокал. – И я знаю почему...

Слегка возбужденный вином, Денис весело рассмеялся и подлил Ватаевой шампанского.

– И я знаю... – сказал он.

– А хороша была эта самая Финочка-то?

– Таких в Москве нет. Вы, конечно, исключение.

– Ой ли? – прищурилась Ватаева.

Высокий и мощный, Денис был на голову выше гостей. Темно-синий костюм сидел на нем добротнo и ладно, как, впрочем, – все, что он надевал, благодаря стройной, крепкой фигуре.

– Эй, вы, «инженеры человеческих душ»! – орал упившийся Алексей Николаевич Большой, мотая тяжелой, лысеющей головой. – Предлагаю тост за великого Хозяина. В-всем встать! – и, качнувшись и чуть не упав, он грузно поднялся, держа в руке стакан, из которого выплескивалось шампанское.

– Ура!

– Ура!..

Но многие уже были сильно пьяны, и вышло все это как-то недруж но, хотя многие старались подчеркнуть экстаз.

Алексей Николаевич поймал за рубаху Анания Северьяныча.

– Слушай, ты, «стало быть с конца на конец»... пойдём-ка со мной.

И потащил Анания Северьяныча в кабинет Дениса. В кабинете на стене висели фотографии актеров МХАТа в ролях из пьесы Бушуева «Братья». Поставив щуплого и перепуганного старика перед фотографией Хмелева в роли комиссара Черемных, Алексей Николаевич пьяно икнул и спросил:

– Кто такой?

Ананий Северьяныч дернул бороденкой и замигал глазами.

– Кто, говорю, такой?

– Надо быть, солдат... – выдавил старик.

– Солдать!.. – передразнил Алексей Николаевич. – Сам ты, брат, «солдать»! Это Николай Палыч Хмелев... Не тот Николай Палыч, что декабристов укокошил, а – другой, блестящий актер, которого сын твой дурацкой ролью укокошил. Понял?

– Чегой-то?

– Не понял?

– Чегой-то не понял... Туманно.

– Эге-ге-ге-ге... – колыхаясь от смеха, протянул Алексей Николаевич. – Туманно, говоришь?.. А впрочем, ты, Северьяныч, прав: кругом туман...

И, безнадежно махнув рукой, пошел, покачиваясь, из кабинета.

В столовой, потушив свет, Семен Винокуров, или, как его звала вся Москва, – Семка, поэт и лихой переводчик с немецкого и французского, человек молодой, красивый и хамоватый, обнимал Настю и пытался поцеловать ее.

– Ох, не нада... не нада... – вздыхала Настя.

На веранде стоял дым коромыслом – танцевали румбу. Крынкин, поминутно поправляя пенсне, рассказывал сидевшему на перилах Лапшину:

– Ты ведь знаешь... Сашку Шарова обошли орденом. Так вот какую я ему казнь придумал: под каждый п-праздник... под Новый год там... или под Первое мая посылаю ему фотографию с моего ордена Ленина. Ух и бесится... Матом прямо кроет по телефону. Хочешь сейчас позвоню, а ты послушай, как он лаяться будет...

И он зашелся мелким, дробным смешком.

– Так я тебе виды Варшавы пришлю из Польши, – рассмеялся Лапшин. – Тебя ведь в прошлом году не пустили за границу-то. Известно: ты просился.

– Врут, врут... – кисло запротестовал композитор. – И нагло врут.

– Ничего не врут. Я в Кремле на банкете слышал.

– В Кремле?

– Ну да. Мне портрет Ворошилова заказан. И был я недавно на банкете... ну, и вот слышал. Знаешь от кого? – Лапшин хитро прищурился: – от самого Рычкова.

Крынкин окончательно скис, выпил еще стакан вина и, наспех попрощавшись, уехал.

Лапшин, от души хохоча, подозвал Дениса.

– Денис, слушай... аха-ха... Да ты слушай, как я Крынкина разыграл!

И подробно рассказал Денису, как он разыграл Крынкина.

В углу жены «инженеров человеческих душ» спорили о достоинствах советских и зарубежных марок машин.

– Валя! Валя! – кричала мужу хорошенькая Батаева. – Бирюковы тоже «шевроле» купили! Долго мы с тобой на «эмке» будем трястись?

– А вот закончит твой Валя новый роман, тысяч 30–50 получит – и купите хорошую машину, – утешала ее подруга, пышная женщина, вся в кольцах и ожерельях. – Слушай, Женя, забыла сказать: у меня есть новая пластинка Вергинского «Мадам, уже падают листья» – вот прелесть-то! Приходи послушать...

Возле Кирюхина собралась небольшая кучка гостей.

– А я вам говорю, что роман Бирюкова слабый! – ораторствовал он. – Ни одного живого образа, ни одного меткого сравнения, ни одной метафоры... Образы коммунистов – бледны. Образы кулачья – шаблонны. Серенькая, тусклая вещичка, ч-чёрт бы ее побрал совсем, и с автором вместе. Вот уж образчик, «как не надо писать»... Да попадись она Хозяину на глаза...

– Говорят, он ее уже читал... – тихо и робко вставил маленький, черненький Якимов, человек неизвестной профессии, но всегда видимый всеми всюду и везде. – Читал, уверяю вас – читал и дал хороший отзыв.

– Гм... н-не знаю... – неуверенно и не очень бодро сказал Кирюхин и почему-то стал платком чистить глаз. Только тут он вспомнил, что в третьей части романа Бирюкова выведен образ Сталина.

«Эк, меня дернула нелегкая», – с досадой подумал он и отошел в сторону.

Вслед за композитором Крынкиным уехал упившийся Алексей Большой. Колька, шофер его, с помощью Бушуева привычно уложил на заднее сиденье машины маститого писателя, и, взмахнув лучами фар, машина укатила.

Один за другим гости стали разъезжаться. Лапшин остался ночевать у Дениса.

ХІІІ

Сразу после выхода из больницы Денис Бушуев попал в привычный водоворот всякого рода дел. То летел на редакционное совещание в редакцию журнала «Революция», членом редколлегии которого он состоял, то торопился на собрание в группком писателей, то читал по радио, то «делился писательским опытом» со студентами Литературного института и лишь урывками работал над новой поэмой. Мучила обширная переписка и рукописи начинающих писателей, которые Денис получал в большом количестве и к которым всегда относился с большим вниманием. Он никогда не «отписывался», читал их с карандашом в руках, отмечая достоинства и недостатки в равной степени, и отвечал автору подробным письмом. А вскоре Союз писателей взвалил на него еще одну обязанность, отказаться от которой решительно не было никакой возможности, – руководить большим литературным кружком при библиотеке имени Белинского на Остоженке.

Получив эту новую нагрузку, Денис сильно взгрустнул и, выходя из здания Союза писателей на Поварскую улицу, подумал о том, что надо немедленно удирать из Москвы в Отважное, если он хочет когда-нибудь написать «Грозного». На тротуаре он столкнулся с поэтом Городецким, мрачно входившим в здание Союза писателей.

Денис любил этого человека: он был скромн, никуда не лез, писал мало, но хорошо и занимался, главным образом, переводами грузинских классиков. Новое либретто к опере «Иван Сусанин», им написанное, придало еще большую художественную ценность «Сусанину», несмотря на легкий социальный заказ, избежать которого полностью уж никак не мог Городецкий.

Поздоровались. Тучный и рыхлый Городецкий осведомился у Дениса о жите-бытье. Бушуев пожаловался на новую нагрузку. Городецкий весело рассмеялся.

– Представьте, Денис Ананьич, точно такую же нагрузку полу чил и я вчера. С той только разницей, что мне придется мотаться дальше, чем вам. Я буду руководить литкружком на заводе «Калибр». Ну, не унывайте, ведь не только мы с вами в таком положении...

– Утешение не большое, Сергей Митрофанович, – вздохнул Денис. – Времени для творчества не остается.

– Так улепетьвайте из Москвы.

– Да я уж и то подумываю...

Поговорив минут пять, они разошлись.

Вечером Денис поехал в библиотеку имени Белинского для первой встречи со своими подшефными литкружковцами.

В тесном читальном зале библиотеки находилось человек тридцать юношей и девушек. Все они с нетерпением и волнением ждали прославленного писателя. Известно, что все знаменитости, как правило, многое утрачивают в глазах поклонников при близком знакомстве. Создав в своем воображении что-то исключительное, люди вдруг встречают обыкновенного человека и – разочаровываются. Не составлял исключения из этого правила и Денис Бушуев. Жадные взгляды молодежи искали в нем чего-нибудь необычного, но, кроме его огромного

роста, ничего не могли подметить. И позже, в разговоре, они тоже не заметили ничего особенного – говорит, как говорят тысячи интеллигентных людей, с той лишь разницей, что у Дениса сильно чувствовался волжский акцент – он говорил на «о».

Бегло познакомившись с молодежью, Бушуев сразу же предложил послушать их, а молодежь только этого и ждала. Один за другим юноши и девушки стали читать свои стихи и рассказы. И, слушая их, Денис уловил одну удивительную особенность: ребята прекрасно понимали – как и что надо писать в расчете на то, чтобы попытаться пристроить свою вещь в печать. Ни один из них ни на йоту не отступил от принятого стандарта, которым пользовались и крупные писатели. Если дело шло о заводе, то непременно упоминалось и о социалистическом соревновании, и об ударниках, и о необходимости выполнить производственный план. Если тема была колхозная, то разговор шел, главным образом, о передовиках сельского хозяйства – о доярках, бригадирах, о коммунистах-председателях колхозов и, конечно, о врагах, пытающихся помешать колхозному строительству. А над всем, почти в каждом стихотворении и в каждом рассказе, царил Сталин, с избитыми эпитетами «дорогой», «мудрый», «любимый»...

Все, что читалось, было очень слабеньким. Из всех ребят Денис сразу выделил лишь одну пятнадцатилетнюю девочку Нину Савельеву. Эта курносенькая, веснушчатая и неказистая на вид девочка обладала несомненным талантом. Польщенная особым вниманием Бушуева, она вдруг призналась, что уже три ее рассказа помещены в печати – в детском журнале «Мурзилка».

– Да я вам могу показать... – покраснев, как маков цвет, сказала она и, суетливо достав из брезентового портфельчика три номера «Мурзилки», протянула их Денису.

Денис перелистал рассказы девочки и снова отметил про себя, что Нина очень способная. Она умела находить меткие, своеобразные сравнения, подбирала точные и красивые эпитеты и прекрасно строила диалог. Плохо было одно: все рассказы были построены по одному образцу: мальчишки-пионеры или девочки-пионерки непременно совершали в конце каждого рассказа какой-нибудь удивительный, героический поступок.

Бушуев осторожно намекнул – а нет ли у Нины других рассказов или стихов, не предназначенных для печати. Оказалось, что есть. И не только – у нее, а почти у всех оказались они. Особенно много было лирических стихотворений, где не было ни заводов, ни колхозов, ни Сталина.

Читка и обсуждение прочитанного затянулись, и разошлись только в двенадцатом часу ночи. Шагая по Остоженке к Крымской площади, Бушуев не переставал дивиться на то, с какой безошибочной точностью ребята делили свои произведения на те, что могут попасть в печать, и на те, что писались, как принято говорить, – «для себя».

– Стихи «для души»... – вспомнил Денис выражение Нелли Кистеновой. Это было давно, в ту пору, когда Денис только начинал свой писательский путь. – Даже дети понимают, что предназначается для печати, а что – «для души», – с горечью думал Бушуев.

На углу Кропоткинского переуллка и Остоженки он наконец отвлекся от этих невеселых мыслей и подумал о том, что за Ниной Савельевой надо последить и помочь талантливой девочке развить писательский дар.

По широкой улице, хрустя шинами, мчались автомобили, где-то внизу, под землей, с глухим грохотом шел поезд метро. Темное звездное небо за Москвой – рекой полыхало багряным заревом: Парк культуры и отдыха еще жил кипучей и шумной жизнью, несмотря на поздний час.

XIV

Бушуев на несколько дней уехал по делам Союза писателей в Ленинград. Но вернулся, не закончив дел. Вот как это случилось.

Рядом с дачей Бушуева отстроился контр-адмирал Топиков – тучный и угрюмый старик, ворчливый, всегда и всем недовольный. Переехал он в новый дом вскоре после того, как Денис вышел из больницы, но почему-то ему долго не могли поставить телефон. Когда Бушуев уехал в Ленинград, Топикову наконец провели телефон. А так как земли у Дениса было много и забор был предлинный, то Топиков, чтобы не огибать забора, приказал рабочим поставить один столб на земле Бушуева.

На даче Дениса находились в это время Настя да Ананий Северьяныч; шофер Миша был вместе с Бушуевым в Ленинграде – поехали они в Ленинград на новой машине, только что купленной.

Когда рабочие явились в сад Бушуевых со столбом, перепуганный Ананий Северьяныч метнулся было к адмиралу с жалобой, но сробел, вернулся назад и волчком завертелся вокруг рабочих, уже начавших копать яму.

– Окаянные! – визжал Ананий Северьяныч. – Что вы, стало быть с конца на конец, делаете?.. За такие поганые дела под суд пойдете!..

– Наше дело, папаша, маленькое: прикажут – выполняй.

– Земля-то – чья? – трясся бороденкой, вопрошал старик. – Сына мово, а не едмеральская... Стало быть...

– Стало быть, папаша, и пушай твой сын с адмиралом воюет... – заметил пожилой рабочий.

– Так сына-то нет...

– Да что тебе, сивому мерину, жалко, что ль, что на твоей земле столб стоит? – возмутился молодой рабочий. – Экой частник ты, право... Теперь частной собственности, папаша, нету, не должно быть.

– У кого нет, а у мово сына – есть! – визжал старик. – А едмерал ваш без стыда и совести – лезет на чужую землю.

Беде помогла Настя. Она догадалась позвонить композитору Крынкину (Лапшина уже не было, он уехал в Польшу). Возмущенный Крынкин немедленно связался по телефону с Ленинградом и, ругая на чем свет стоит нахального адмирала, пожаловался Денису – спайка у новых собственников была крепкая.

Если бы такое самоуправство проявил кто-нибудь другой из соседей Бушуева, то, всего вероятнее, Денис не обратил бы на это никакого внимания – ставь хоть сто столбов. Грубого чувства собственности Денис был совершенно лишен. Но адмирал на второй же день своего приезда сумел жестоко обидеть девочку-колхозницу, свою новую прислугу, чем вызвал к себе бешеную ненависть Дениса. С помощью связей адмирал замаял скандальное и грязное дело, но в лице Бушуева навсегда нажил непримиримого врага.

Выслушав Крынкина, Бушуев помчался на аэродром и к вечеру прилетел в Москву.

– «Который тут налим»? – весело крикнул он Ананию Северьянычу, красившему калитку сада, выскакивая из такси и на ходу сбрасывая пиджак и засучивая рукава.

– Папаша, неси лопаты! – приказал он, направляясь к маячившему столбу.

Ананий Северьяныч в одну минуту сбегал в гараж за лопатами.

Денис принялся копать. Но столб был врыт добротнo, глубоко.

– Неси, отец, топор...

Ананий Северьяныч сбегал за топором.

– Оно, Дениска, так сподручней будет, – одобрил он идею Дениса рубить столб. – Оно, стало быть с конца на конец, быстрее выйдет... А корешок-от я потом один потихонечку выкопаю, выкопаю потихонечку...

Брызгами летела щепка. Гудели наверху столба провода. Удары сыпались один за другим. Рубил Денис со всего плеча, сладострастно вскрикивая:

– А-ах!.. А-ах!..

Провода сотрясались и жалобно гудели. Это, должно быть, и навело адмирала на грустные предположения. И вскоре его бритая, круглая, как шар, голова показалась над забором. Адмирал был в одной исподней рубашке и в форменных адмиральских штанах, в сандалиях на босу ногу. Так как забор был выше его, то адмирал взобрался на пустой ящик.

– Товарищ Бушуев! – закричал он мощным, чуть хриловатым голосом, простуженным в морях и океанах. – Позвольте, товарищ Бушуев, что вы делаете? Это мой столб!

Денис молча прибавил темп. Одна из щепочек щелкнула Анания Северьяныча по носу. На лезвии топора сверкало закатное солнце, прорываясь сквозь листву.

– Столб-то ведь мой! – настаивал адмирал, сотрясая забор белыми сильными руками.

– Не спорю – ваш. И я вам его через две минуты верну. Мне он, собственно говоря, даже и не нужен, – не отрываясь от горячей работы, ответил Денис. – Но вообще-то говоря, вы могли бы и кругом сада провести линию...

– Так у вас земли-то чёрт-те сколько! – возмутился адмирал. – Что же мне: прикажете километровую проводку делать? Прекратите рубить столб!

– И не подумая... – спокойно ответил Денис.

– А ты, Дениска, стало быть, не слушай, а руби... – шептал осмелев ший Ананий Северьяныч.

– Прекратите рубить столб, я говорю! – кричал адмирал. – Не прекратите?

– Нет.

– Это ваше последнее слово?

– Да.

– В таком случае я сейчас же позвоню товарищу Ворошилову и пожалуюсь на вас...

– Звоните, если успеете... Торопитесь, товарищ адмирал, а то столб сейчас упадет, провод придется перекусить, и звонить вам уже будет некуда...

– Ах, так? – взметнулся адмирал. – Х-хорошо!

Адмирал спрыгнул с ящика и, поддерживая рукой спадающие форменные брюки, пошел было к дому, но, услышав треск за своей спиной, круто повернул назад и снова занял свой наблюдательный пост на ящике.

Столб повалился. Один конец его лежал на земле, другой висел на натянувшемся проводе метрах в двух от земли. Бушуев, бросив топор, вытирал пот со лба. Ананий Северьяныч угодливо подсовывал сыну плоскогубцы. При имени Ворошилова он не на шутку перетрухнул и торопил Дениса лишить адмирала связи с внешним миром, тем более – с Кремлем.

Денис взял плоскогубцы и, подняв руку, наложил их на провод.

– Стойте! – крикнул адмирал.

– Ах, вы опять здесь? Успели позвонить?

– Стойте, товарищ Бушуев... – меняя тон, сказал адмирал. – Я признаю, что я виноват... Стойте, стойте, не перекусывайте, пожалуйста... Попробуем кончить дело мирным путем, сосед.

– Что же вы предлагаете? – через плечо спросил Денис, не снимая, однако, плоскогубцев с провода.

– Вроде снова столб в землю и...

– На прежнем месте? – перебил его Денис.

– На прежнем. И...

– Не выйдет!.. – кратко бросил Денис и перекусил провод.

Столб шлепнулся наземь. Адмирал крепко, по-морски покрыл Дениса матом и пропал за забором.

Телефонный провод пришлось ему все-таки провести, минуя землю Бушуева.

.....

Еще в больнице, просматривая газеты, Денис натолкнулся на рецензию на спектакль «Братья» в постановке Горьковского драматического театра. Задним числом – спектакль уже шел несколько месяцев – горьковская газета разносила постановку «Братьев» за «выпячивание на первый план образа бандита-повстанца Еремина» и за «бледный, неубедительный образ комиссара Черемных».

В конце мая, заканчивая сезон, театр давал заключительный спектакль. Шли «Братья».

23 мая Денис Бушуев выехал в Горький. Он хотел непременно посмотреть этот спектакль. Из Горького он намеревался уехать в Отважное на все лето.

XV

Пароход «Нева» подходил к пристани Знаменское. Было солнечно и тихо, так тихо, что крики купающихся возле пристани детей были слышны на другом берегу Волги. Над пристанью и пароходом кружили чайки. Волга была гладкая, словно отполированная, и все кругом – и зеленые кудлатые берега, и небольшая пристань, на дебаркадере которой толпились пассажиры, и большое село на горе, с красными и зелеными крышами и кирпичной церквушкой, и красивый, белый, как мел, пароход, с косой бурого дыма за кормой, – все это так неестественно точно отражалось в реке, что казалось декорациями. Шел конец мая, с берегов доносился терпкий запах черемухи попеременно с запахом молодой листвы и трав.

Пароход бодро, оглушительно засвистал и свистел долго, и так же долго катилось потом где-то по Заволжью эхо.

– Готовь, ребята, чалки!.. – весело скомандовал матрос, пробегая по нижней палубе.

Аркадий Иванович, высокий и стройный, в белых брюках и в белой рубашке, вышел из буфета со стаканом холодного молока в руке и зашагал по палубе той славной, спокойной и уверенной походкой, которой ходят только люди, переживающие большое счастье.

А счастлив он был потому, что всего несколько часов назад он объяснился наконец с Ольгой Николаевной и получил ее согласие на брак. Вышло это до того неожиданно, что Аркадий Иванович все еще никак не мог прийти в себя и поверить в свое счастье.

Они стояли на корме парохода, облокотясь о поручни. Кругом никого не было. Склонив русую голову, Ольга смотрела на убегающую назад воду и чему-то улыбалась. Оттого, что она стояла, слегка согнувшись, открытое серое платье сползло с ее плеча, обнажив тонкую косточку ключицы, с матово-темной тенью под ней на сильно загоревшем теле. Вдруг она рассмеялась и повернулась к Аркадию Ивановичу. «Что это вы?» – спросил он, тоже невольно улыбнувшись и жадно вглядываясь в ее лицо. – «Вспомнила, какой вы вчера вечером смешной были», – ответила она, снова отворачиваясь, и, подумав, добавила: «Да, наверное, и я не лучше была». Аркадий Иванович подвинулся ближе, так что плечи их сошлись. Почувствовав, что она не отстраняется, он прижался крепче и почти шепотом, не узнавая своего голоса, сказал: «Что ж в этом удивительного?.. Ведь я вас... я вас...» В руках у нее была книга – поэма Дениса Бушуева «Матрос Хомяков». Слушая Аркадия Ивановича, она машинально раскрыла ее на главе «Лютики». Аркадий Иванович протянул руку и прикрыл в слове «Лютики» последние четыре буквы – осталось лишь «Лю»... «Любите?» – спросила она, порывисто поворачиваясь и хмуря брови. Вместо ответа, он обнял ее, рывком притянул к себе и жадно поцеловал в мягкие полуоткрытые губы. Она ответила ему так же жадно – поцелуй вышел долгий и страстный, и при воспоминании о нем у Аркадия Ивановича кружилась голова.

Веселая толпа пассажиров 1-го класса уже толпилась у левого борта, ожидая, когда пароход пристанет к берегу. Аркадий Иванович прошел за их спинами, обогнул салон, за зеркальными стеклами которого видны были люди, склонившиеся над тарелками и соусницами, и прошел на нос, к шезлонгу Ольги.

– Вот твое молоко... – сказал он, улыбаясь и подавая стакан Ольге. – Ах, если б ты знала, как я счастлив...

Он с трудом, но с наслаждением выговаривал это «ты». Усевшись в шезлонг напротив нее, он зажмурил глаза и покрутил головой – радость, казалось, распирала его.

Аркадий Иванович приехал в Ялту в начале мая, получив полуторамесячный отпуск. У Ольги были еще впереди три недели отпуска без сохранения содержания. Но как раз к этому времени она получила извещение об увольнении с работы «по сокращению штатов». Ольга давно этого ожидала. Дело в том, что директор треста, где она работала машинисткой, не раз откровенно намекал ей, что если она будет продолжать упрямяться, то она рискует потерять место. Незадолго перед ее отъездом в Крым он напомнил ей об этом еще раз и получил пощечину.

Потеря места не огорчила Ольгу Николаевну, потому что по возвращении в Москву она все равно собиралась уходить из треста. А так как то, что ей рано или поздно придется расстаться с работой, было ей известно задолго до увольнения, то они с Еленой Михайловной сумели к этому времени скопить кое-какие деньжонки.

На семейном совете в Ялте, в котором принимал участие и Аркадий Иванович, было решено, что лето Ольга будет отдыхать. За это время Аркадий Иванович брался подыскать ей новую работу.

Местом отдыха было выбрано село Отважное на Волге, где у Аркадия Ивановича жили знакомые – семья архитектора Белецкого. Хрусталев уверял, что там дешево можно прожить, что для Ольги теперь было очень важно. Он списался с Белецкими и немедленно получил ответ. Николай Иванович писал, что они очень рады будут пристроить у себя гостей, так как дом у них большой и места всем хватит. В случае же, если бы Ольга Николаевна пожелала снять где-нибудь комнату в другом месте, то и это можно устроить, ибо свободных комнат в Отважном сколько угодно. И вскоре Ольга с Хрусталевым выехали в Отважное. Заехав по дороге в Москву, Ольга оформила увольнение, отослала кое-какие вещи на адрес Белецких в Отважное и справилась по телефону у врача Дениса Бушуева о его здоровье: Бушуев в то время был на пути к окончательному выздоровлению.

Пробыв в Москве два дня, Ольга Николаевна с Хрусталевым на туристском пароходе спустились по Москве-реке, Оке и Волге до Куйбышева (Ольге очень хотелось посмотреть на Жигули). В Куйбышеве, после осмотра города и Царева Кургана, они пересели на пассажирский пароход «Нева» и поехали вверх по Волге в Отважное.

Танечка с Еленой Михайловной переехали в Севастополь к брату Елены Михайловны, капитану дальнего плавания Егорычеву, где собирались некоторое время погостить, пока Ольга Николаевна путешествует и пока она устраивается в Отважном.

– Знаешь... – говорил Аркадий Иванович, прикуривая папиросу и исподлобья, весело поглядывая на Ольгу. – Знаешь, давай-ка мы вот что сделаем: приедем к Белецким и прямо там, в глуши, в деревне и поженимся. А то пока-то мы попадем в Москву...

– Какой, однако, вы торопливый...

– Ты... – поправил он.

– Ты-ы! – подчеркнуто сказала она, подаваясь всем телом к нему и смешно морща нос, как бы дразня его.

Он мгновенно вскочил, уперся руками в поручни шезлонга, наклонился и, встретив протянутые навстречу полураскрытые мягкие губы, поцеловал ее. А когда оторвался и заглянул ей в глаза, то как-то сразу понял, что то, чего он так упорно добивался, что представлялось ему сумасшедшим счастьем – случится очень скоро, быть может, сегодня же. Поняла это и она, и, чтобы скрыть затуманенные глаза и невольное смущение (она догадалась, что он уловил ее желание), она слегка отвернулась и опустила глаза, прикрыв их темными ресницами. В самом

деле, она впервые поймала себя на том, что желает его близости. И досадовала на себя, что не сумела скрыть этого желания.

– Я приду к тебе сегодня вечером... – тихо сказал он, с трудом разлепляя мгновенно спекшиеся губы и сдерживая дыхание.

Она ничего не ответила. Только уголок ярких, словно вырезанных губ ее чуть дрогнул.

Хрустнув кранцами, пароход пристал к дебаркадеру. Перекинули трап, чалки. Шаркая по трапу лаптями и кожаными сапогами, хлынула с парохода на пристань толпа третьеклассников.

Ольга порывисто встала.

– Пойдем, посмотрим на берег...

Он покорно поднялся и пошел за нею, следя, как в тумане, за движениями всей ее фигуры. Подошли к борту. Возле берега, усыпанного мелким гравием, тихо вздыхала голубоватая вода с радужными пятнами нефти. За полоской гравия шла широкая зеленая полоса травы, пересыпанная желтыми шариками кубариков и белыми ромашками, потом – глинистый обрыв, а за ним – серенькие домики под железными и тесовыми крышами. Дома, вперемежку с тополями и березами, уступами подымались вверх, на высокую гору. По съезду гроыхала телега, груженная мешками, и возчик, – худой мужичонка в синем картузе, шагавший рядом с телегой, – изо всех сил натягивал вожжи и басовито кричал:

– Тпру!.. Тпру-у, подлая!..

И вдруг Ольга вспомнила то, чему она однажды была свидетельницей и что, как дурной сон, преследовало ее уже много лет.

XVI

Однажды, когда ей было восемнадцать лет, а Дмитрию двадцать два, отец отправил их прокатиться по Волге. Возле Рыбинска погожим летним днем пароход, на котором ехали Ольга с братом, пристал к пристани Село Малое. Они с братом стояли у борта и смотрели на берег.

На крыше дебаркадера, что приходилась вровень с верхней палубой парохода, стоял в одних трусиках загорелый мальчик лет двенадцати, белокурый и сероглазый. Внизу, на корме пристани, стояли еще два мальчика. Они размахивали руками и наперебой кричали:

– Слабо! Не нырнешь...

– Нырну! – уверенно отвечал им мальчик с крыши.

– Не нырнешь! Слабо!..

– Нырну!.. – подтвердил мальчик и мельком глянул на Ольгу задорными серыми глазами. Долго, всю жизнь потом Ольга Николаевна вспоминала этот взгляд и никогда не могла его забыть.

Мальчик легко оттолкнулся и прыгнул вниз головой. Перелетев через головы стоявших на корме пристани мальчиков и чуть-чуть не задев борта, он шумно упал в воду, подняв каскад брызг. Долго, очень долго его не было видно. Но вот показалась рука, слабо взмахнула – он, видимо, хотел плыть – и снова скрылась. Потом вынырнула на секунду белокурая голова и тоже скрылась. Потом показали обе руки и сначала слабо, а потом – все сильнее и сильнее забили по воде: человек цеплялся за жизнь...

Ольга побледнела и схватилась за брата. Дмитрий с силой вырвал у нее руку, мгновенно выкинул на палубу из карманов брюк докумен ты и деньги и, ловко перемахнув через поручни, быстро, как кошка, стал спускаться по кожуху и «сияниям» колеса вниз к воде. Добравшись до обносов, он, одетый, в ботинках – стремительно прыгнул.

Между тем мальчик продолжал бешено бить ладонями по воде и постепенно приближался к берегу. Вот он нащупал ногами дно, руки перестали бить по воде, показалась голова, плечи и, встав по пояс, он, пошатываясь и выплевывая тяжелые сгустки крови, пошел на берег.

Возле приплеска упал на четвереньки и молча стал ползти по мелкой воде, мотая из стороны в сторону головой, словно оглушенный, и продолжал выплевывать кровь, часто и сильно икая.

В эту минуту его подхватил подплывший Дмитрий и, подняв на руки, вынес на сухое место.

Все это происходило очень близко от Ольги, перед самыми ее глазами. Она отчетливо слышала, как мальчик, сквозь икоту, сказал Дмитрию:

– Отшиб... грудь... о камень... Эх-х, круто взял...

Со всех сторон бежали люди. Дмитрий положил мальчика на траву, на спину. Мальчик поминутно поднимал руку к глазам, прикрывал их ладошкой и снова отбрасывал руку. И шевелил пальцами ног. Багровая грудь его быстро, на глазах у столпившихся людей все больше и больше синела. Икать он перестал, но из уголка фио летовых губ его, не переставая, бежала на подбородок кровь. По приплеску, от пристани, спотыкаясь и падая, бежала молодая баба в белом платке и черной юбке и негромко, скороговоркой повторяла одно и то же:

– Батюшки... сыночек... сыночек... батюшки...

Ольга отвернулась, подняла с палубы бумаги и деньги Дмитрия и быстро пошла на корму парохода.

В глазах у нее мутилось, тянуло на тошноту. С берега доносился громкий плач женщины; потом в него вплелся торопливый стук колес по камням, и как-то разом все стихло.

Пришел Дмитрий, мокрый, с прилипшей к телу одеждой и с пятнами крови на рубашке. Ольга вопросительно и тревожно глянула на него.

– Умер... – тихо сказал он и пошел в каюту переодеваться.

Смерть мальчика разволновала ее тогда необыкновенно. И время от времени она вспоминала этот случай, и всегда со странным чувством беспокойства. Ей всегда казалось, что случай этот имеет какое-то косвенное, неперемнное, необъяснимое отношение к ней самой. Но почему – она никогда не могла понять.

XVII

Часам к пяти вечера разыгралась буря. Дул сильный низовой ветер, вздувая свинцовые волны с шипучими, желтыми гребнями. Пароход подошел к Горькому. Через два часа он отвалил от пристани и пошел дальше, но буря не только не стихла, а стала еще сильнее. «Неву» основательно покачивало.

Когда пароход скрылся за коленом реки, к пассажирской пристани «Горький», от которой только что отвалила «Нева», подъехало такси. Из такси вышел Денис Бушуев и, заметив, что пароход ушел, громко и досадливо выругался:

– Ч-чёрт... вот чёрт...

Бушуев возвращался с просмотра «Братьев» в Горьковском драматическом театре.

Расплатившись с шофером, он неторопливо пошел на пристань, похрустывая прибрежным гравием и слегка покачивая маленьким чемоданчиком. Серый костюм его был слегка помят, чистый воротничок клетчатой рубашки был распахнут и обнажал грудь и шею, с полоской легкого загара. Еще в сквере, на площади, дожидаясь такси, он сорвал стебелек какой-то сухой и длинной травки и всю дорогу в машине не выпускал его изо рта. И теперь, шагая на пристань, нервно вертел его и покусывал крупными и белыми, как фасоль, зубами.

– Ушел? – спросил он матроса, качнув головой вслед исчезнувшей «Неве». Матрос мыл палубу дебаркадера; неторопливо стряхнул швабру и кратко ответил:

– Ушел.

– Когда след уюций?

– Завтра утром.

– Плохо... – задумчиво сказал Бушуев и, присев на кнехт, закурил. Но в ту же секунду ему пришла одна заманчивая идея. Он встал и снова обратился к матросу:

– Где контора пароходства?

– А вона на набережной! Там и контора, там и райкомвод.

Через пять минут Бушуев уже входил в кабинет начальника управления пароходством.

Бушуеву, как он сам часто говорил, «везло» на встречи. Начальник управления был тот самый Яков Петрович Наседкин, который когда-то возглавлял в Костроме контору Средне-Волжского управления и который помог Бушуеву в бытность его лоцманом уволиться с парохода «Товарищ». Год назад Наседкин получил повышение по службе, и его перевели в Горький. Он страшно обрадовался Бушуеву.

– Денис!.. Денис Ананьевич!.. – суетился маленький, курчавый Яков Петрович, не зная куда посадить земляка. – Да как же это?.. Ах, ты, бож-же мой... Какими судьбами?..

Бушуев тоже обрадовался встрече с земляком, но времени было мало, и он, выждав немного, заговорил о деле:

– Я, Яков Петрович, опять к вам с просьбой пришел... Помните, как когда-то...

– Да, бож-же мой, как же не помнить... Ведь лоцман ты был когда-то, Денис... то есть «вы»... – смутился Наседкин, морща колючее, всегда плохо побритое лицо. – А теперь вона – лучший наш писатель. Каждый волгарь, брат, тобой гордится. Недавно, брат, новый теплоход твоим именем назвали.

Он бы до вечера готов был разговаривать со старым знакомым, но Бушуев решительно перебил его:

– Яков Петрович, вот какое дело. Я опоздал на «Неву», она только что отошла. Еду в Отважное. Следующий – лишь завтра. А времени мне терять не хочется. Нет ли у вас свободного катерка догнать «Неву»? Я заплачу.

– Сиим моментом я это устрою! – снова засуетился Наседкин и схватил трубку телефона. – Порт дайте, пожалуйста. Третью пристань... Курочкин? Нет? Дайте Курочкина... Слушай, Курочкин, «Вьюга» у тебя где?.. Хорошо, не отправляй ее пока... Тут сейчас придет к тебе товарищ Бушуев... Ну да, тот самый... Так ты скажи Илюшке Назарову, чтобы догнал «Неву» и посадил Бушуева. Человек, понимаешь, опоздал... Ладно, будет сделано. Не волнуйся...

Он положил трубку и повернулся к Бушуеву.

– Все в порядке, Денис Ананьевич. «Вьюга» у нас самый, брат, быстроходный катер, сто сил. В момент догонишь... Привет отцу-то, Ананию-то, не забудь передать от меня...

Когда Бушуев пришел на третью пристань, большой красавец катер, выкрашенный в красный цвет, уже стоял у причала, а механик Илья Назаров сидел у штурвала и дожидался пассажира. Погода была такая, какую сызмальства любил Денис: штормовой низовой ветер и солнце.

– Садитесь, товарищ!.. – еще издали крикнул механик, юркий, веснушчатый паренек.

Бушуев наспех поблагодарил начальника пристани Курочкина, вышедшего проводить знаменитого гостя, и прыгнул в катер. И в ту же секунду механик включил мотор.

– Катер Управления! «Нева» сразу вас возьмет!.. – крикнул, перекрывая стук мотора, Курочкин, полагая, что Бушуев не знает о том, что катер принадлежит управлению пароходства.

Илья дал полный газ. Нос катера мгновенно взметнулся вверх, из-под кормы вырвался пенистый бурун, и, взыв, катер рванулся вперед, набирая скорость. Рассекая тяжелые свинцовые волны, он иногда подпрыгивал и смаху падал вниз, взметая каскады брызг. Чайки с криками понеслись за ним.

Бушуева охватила бешеная мальчишеская жизнерадостность. Он сбросил пиджак, засучил рукава клетчатой рубашки и слегка подтолкнул в бок механика.

– А ну-ка, хозяин, дай-ка мне...

– Нельзя, товарищ... Запрещено, – попробовал было запротестовать Илья, увидев, что Бушуев тянется к штурвалу.

– Ну, ну, давай, – улыбнулся Бушуев и, мягко отстранив механика, сел за штурвал.

Давно, очень давно его руки не касались отполированных человеческой кожей ручек штурвала, и, почувствовав их в своих пальцах, Денис ощутил то трепетно-грустное волнение, которое всегда рождается в человеке при встрече с чем-то давно забытым, но бывшим когда-то и дорогим, и милым. Механик сразу успокоился, увидев, что штурвал попал в надежные руки.

Город остался позади. Справа пронеслась парусная шлюпка. Слева, тяжело шлепая плечами, буксирный пароход «Красное Сормово» тащил караван барж. И все это – и бурная пенящая река, и голубой шатер неба над нею, и дымки пароходов, и зеленые веселые берега, с которых доносился запах цветущей черемухи, – все это вызвало у Дениса такой рой воспоминаний, что до боли сжалось сердце. Да полно, так ли? Не сделал ли он страшной, непоправимой ошибки, променяв родную стихию на что-то чуждое и туманное? Ведь все то, что он теперь делал, так мелко и ничтожно перед этим единственно настоящим, что рождено самой природой. И это чувство, охватившее его с такой силой, напомнило ему то грустновосторженное чувство, которое он всегда испытывал, глядя на чистое звездное небо. Ведь если прикинуть расстояния, исчисляемые миллионами световых лет, расстояния, которых умом нельзя понять и которые невозможно представить, тогда не только он, Денис, а весь земной шар, со всеми его дворцами и хижинами, с бедными и богатыми, с красными и синими, с парламентами и диктатурами, с бессмысленными войнами и не менее бессмысленным тихим существованием, с ненужной борьбой со злом и с еще более ненужным примирением с этим злом, с живыми и мертвыми, – этот земной шар представится такой ничтожной песчинкой, что дела существ, населяющих его, станут невидимыми и неосязаемыми, как невидима и неосязаема молекула кислорода в воздухе. Так из-за чего же, из-за чего же хлопочут люди?..

Через час Денис Бушуев догнал «Неву». Она выросла как из-под земли, едва только катер обогнул Семеновский пережат. Грустные размышления Бушуева мало-помалу развеялись и сменились, как это у него часто бывало, чувством радостного ощущения жизни.

На большой скорости он поравнялся с пароходом, сбавил газ и некоторое время шел рядом с «Невой». Уменьшенная скорость увеличила качку. Взмывая на гребни волн, катер с размаху падал в провалы, точно вздыхал и на какое-то мгновение исчезал за пенными стенами брызг, подымавшихся возле бортов. На верхней палубе «Невы» столпились любопытные пассажиры. Некоторые приветливо махали руками. Механик Илья дал сигнал: «Примите пассажира». «Нева» убавила ход.

XVIII

Ольга с Аркадием Ивановичем сидели на верхней палубе, на корме. Здесь было не так ветрено. Они сидели рядом, слегка касаясь друг друга плечами и смотрели на нижнюю палубу. Там, среди канатов и троссов, на овальной корме, из-под которой вырывались буруны пенной желтоватой воды, ехали третьеклассники – колхозники и рабочие. Они лежали вповалку на палубе. Мужчины и женщины, молодые и старые – они занимались кто чем. Одни, сбившись в кружок, играли в карты, другие пили водку, закусывая ее воблой, третьи – просто лежали, задумчиво глядя на убегающие назад берега. Но все молчали и – слушали. Слушали двух певцов – молодого парня и пожилого мужика в поддевке, что сидели на чугунных кнехтах. Парень играл на гармонии и запевал. Бородатый сосед его подхватывал низким и сочным голосом, закрывая глаза и слегка откидывая голову. Пели они удивительно стройно и выразительно. Пели песню, которой ни Ольга, ни Хрусталева никогда раньше не слышали. В этой песне рассказывалось о молодой красной девице, полюбившей вольного казака-красавца, а казак тот оказался Стенькой Разиным, буйным главарем-разбойником, который и сгубил красную девицу.

...Ей-да, по-огубил он иё-ё,
Да а-атаман лихой... –

выводил парень рыдающим голосом.

На заре-то ле-е-ет...

Но и Ольга, и Аркадий Иванович плохо слушали песню – оба прислушивались к стуку своих сердец. И то напряженно-внимательное выражение их лиц меньше всего относилось к певцам. А когда певцы смолкли, Ольга порывисто и резко отодвинулась от Аркадия Ивановича.

– Хорошо спели... – задумчиво сказал Аркадий Иванович.

– Да, хорошо... – рассеянно подтвердила она. – А слушали мы, по-моему, скверно.

Помолчали.

– Ты прочла наконец книгу Бушуева? – спросил он, чтобы чем-нибудь нарушить неловкое молчание.

Ольга слегка оживилась.

– Не всю еще. А знаешь – неплохая книга. Человек он несомненно талантливый. И те места, где он сам собой – в лирических отступлениях, в обобщениях и анализе чувств – там есть чудесные куски. Но как только начинается политика – конец. Ах, как это ужасно!.. Но меня вот что интересует: искренен он в политической-то части или неискренен?

– Да ведь кто ж его знает, – рассмеялся Аркадий Иванович. – У меня, впрочем, впечатление, что он искреннее, чем другие. Быть может, эта искренность и придает такую силу его вещам. Так, например, было с Маяковским.

Ольга откинула со лба заброшенную ветром прядь русых, пушистых волос и, подняв обнаженные руки, скрепила растрепавшиеся волосы.

– Странное он впечатление на меня произвел, – сказала она. – Правда, трудно судить – он еще был очень плох. Говорил как-то резко и с оттенком какой-то грубоватой заносчивости. А иногда в его голосе и словах сквозило что-то очень мягкое. Не знаю. Думаю, что он человек так себе... Не из приятных. Боже мой, как я их всех ненавижу, если б ты только знал, Аркадий.

– Кого?

– Да всех... всех этих писателей, поэтов, художников...

– Кинооператоров... – подсказал Хрусталеv, улыбаясь.

– Нет, право, я не шучу, – серьезно сказала Ольга. – Ты – другое, ты исполнитель, а они творцы. Самое отвратительное состоит в том, что ведь большинство из них советскую власть ненавидят так же, как и мы с тобой. А вот, поди ты – делают огромную и большую работу по прославлению ее.

– Все ведь это вообще очень сложно, – сказал Аркадий Иванович. – У тебя, Оленька, особая боль насчет этого, и я тебя понимаю. Я еще удивляюсь иногда на то, как ты вообще все это перенесла. Мужественная ты и – волевая.

Ольга поморщилась.

– Не надо, Аркадий, вспоминать об этом. Но вот что: мне все время кажется, что Дмитрий не только жив, но и на свободе. Не знаю, я все время это чувствую. Как ты думаешь?..

Аркадий Иванович мало что знал о семье Ольги, а если что знал, то – отрывочно, ибо Ольга не любила вспоминать о прошлом. Знал он лишь, что когда-то семья Ольги была крепкой, дружной и счастливой. Отец и мать Ольги были коренные москвичи. Отец – Николай Николаевич Воейков – был по профессии инженер-путеец, сын простого рабочего-штукатура. Упорным трудом выбился в люди. Работал при Наркомате путей сообщения, зарабатывал много, и семья никогда не нуждалась, даже в голодный 1933 год. Мать – женщина культурная

и умная – очень заботилась о воспитании детей – Ольги и Дмитрия. Кроме того, что им давала школа, они получали еще многое дома: учили иностранные языки и занимались музыкой. В 1934 году Ольга вышла замуж за военного инженера Алексея Федоровича Синозерского. Родилась Танечка. Мужа Ольга любила. Он же по ней с ума сходил, беспричинно ревновал ее, и на этой почве часто происходили ненужные ссоры. Дмитрий окончил Машиностроительный институт и был командирован в Америку. Через два года он вернулся и получил хорошее место на заводе «Красный пролетарий». Но тут вскоре, один за другим, посыпались тяжелые удары на некогда счастливую семью и стерли ее с лица земли. Умерла мать Ольги и Дмитрия. Через несколько месяцев был арестован Николай Николаевич Воейков. Еще в то время, когда он находился под следствием, арестовали мужа Ольги – Алексея Федоровича Синозерского. По слухам, Воейков находился на пути к освобождению, но арест зятя снова все запутал. Дело в том, что Синозерский был коротко знаком с командующим БВО Уборевичем, арестованным и расстрелянным по делу Тухачевского. В июне 1937 года арестовали и Дмитрия Воейкова. Все дела членов семьи сплели в одно. Николая Николаевича и Синозерского вскоре приговорили к расстрелу – и расстреляли. Дело Дмитрия выделили на процессе, и приговор был вынесен лишь спустя год. Его приговорили к 25 годам лишения свободы, с отбыванием срока наказания в отдаленных исправительно-трудовых лагерях. В первое время, охваченные ужасом, Ольга и Елена Михайловна Синозерская – свекровь Ольги – растерялись. Но постепенно, собрав все силы, оправались: сняли под Москвой небольшую комнатку, Ольга нашла работу, и вся ее жизнь сосредоточилась на воспитании дочери и на заботах о брате. Вот все, что знал Аркадий Иванович. И еще: с утра сегодняшнего дня, когда они – он и Ольга – объяснились, жизнь Ольги, которая стала для него всем на свете, потечет по новому руслу. Он был уверен в том, что сумеет сделать ее счастливой. Да и как не сделать, если к его любви прикладывается еще и ее любовь к нему. А в том, что она его любит, он уже не сомневался, и ее молчаливое согласие на то, что он придет к ней вечером в каюту, с несомненной очевидностью подтверждало это... И перед этим сознанием, сознанием того, что она его любит, даже как-то тускнело в его воображении то, что случится. Опять волна невыносимой радости охватила его. Он взял в свои руки маленькую теплую ладонь Ольги.

– Любишь, Ольга?

Она порывисто сжала его щеки тонкими, теплыми пальцами, и, улыбаясь и показывая ямочки в уголках ярких, словно вырезанных губ, тихо и нежно сказала:

– Дурачок... конечно.

И ей в эту секунду пришла мысль о том, как, в самом деле, она сильно и страстно его любит.

А пароход шел, чуть вздрагивая, и слышен был где-то внизу глухой стук машины. Из-за колена реки вынырнула маленькая яркая красная точка и стала быстро приближаться. И вскоре стало видно, что точка эта – моторный катер, мчавшийся вслед «Неве» на большой скорости. Подымая справа и слева от себя высокие, издали – снежно-белые стены брызг и пены, маленький катер то скрывался в волнах и надолго пропадал из глаз, то снова выныривал, упрямо рассекая бурную Волгу и быстро подвигаясь вперед. И оба – и Ольга и Аркадий Иванович – почему-то не отрываясь стали следить за ним, молча и сосредоточенно. И странно как-то было, ибо за этой внимательной слежкой они на какое-то время позабыли о том, что их обоих только что волновало и о чем одном они могли думать. Темно-голубые глаза Ольги слегка сощурились, и от длинных ресниц легла черная тень, погасив блеск глаз; губы плотно сжались, и на лоб набежали морщинки, словно она о чем-то подумала – о чем-то нехорошем и страшном. Она инстинктивно подвинулась ближе к Аркадию Ивановичу и взяла его под руку. И опять-таки странно: он как бы не почувствовал этой ее близости, не пошевелился, не изменил позы и не ответил на ее легкое и робкое пожатие. Что произошло? Ни он, ни она не понимали. Мчится, приближаясь к пароходу, катер. Катер, каких тысячи на Волге. И – больше ничего. Во всем

этом не было ничего необычного. Однако именно эта обыденность рождала и в Ольге и в Аркадии Ивановиче какое-то смутное, необъяснимое беспокойство. И это было страшно. Аркадий Иванович первый легко и быстро освободился от этого странного чувства. Он уже любовался и бурной Волгой, и мчащимся катером, и все, все кругом снова засверкало в радужных красках.

– Летит...

И Ольга поняла, что Аркадий Иванович имеет в виду катер, что летит катер, а не парусная лодка, что неслась справа по борту, и не чайка, что с криком метнулась к стоявшей у поручней девочке и протягивавшей в воздух кусочек хлеба.

Катер теперь отчетливо был виден. Вот он поравнялся с «Невой», резко отвернул от волн за ее кормой и, убавив ход, пошел рядом с пароходом.

– Катер Управления! – крикнул кто-то сверху. – Принять пассажира!..

Пароход тяжело, сипло свистнул и тоже замедлил ход. Двое матросов пробежали мимо Ольги и Аркадия Ивановича и ловко, как кошки, прямо через борт спустились на нижнюю палубу, на корму.

Катер стал подруливать к «Неве». На его мокрых красных бортах сверкали солнечные блики. В катере находились двое: один, в форменной фуражке и полосатой тельняшке, выполз на крытую палубу носа с чалкой в руках, готовясь бросить ее матросам на «Неву». Другой – Денис Бушуев – стоял во весь свой огромный рост за штурвалом и внимательно следил за тем, как катер подходил на малых оборотах к пароходу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.